



ИСТОРИЯ ВТОРАЯ



е удивительно, что прочно соединенные и скрепленные части держатся своим союзом, даже обретают благодаря ему вящую силу и мощь: это и знаменовал плотный пук стрел, показанный детям в назидание умирающим отцом; но достойна великого восхищения отдельная и обособленная часть, которая оказывается ничуть не слабее целого, ведь, по слову мудрого Эмпедокла, природа не знает лучшего средства к разрушению и уничтожению своих созданий, нежели раздор и разлад. Поэтому нет ничего диковинного в том, что Рим, ставший некогда столицей лучшей части света, был не только неодолим, но и мог покорить любую страну; однако все, включая меня, не могут не дивиться, что после того как римская монархия победила сама себя распрями и усобицами и разделилась, словно голова гидры, на множество частей, каждая из этих частей существует вполне благополучно, так что Германия, где воссияла основная часть Западной империи, способна даже угрожать соседям, — мало того, и составляющие ее частицы, которые суть как бы небольшие королевства, все смело дают отпор притязаниям могущественнейших государей и в высшей степени осмотрительно сохраняют право избирать повелителей по своему предпочтению, а эти князьки ведут себя весьма разумно и ставят препоны всякому властолюбию, понимая, что оно несет гибель всему государству и



отдельным землям. Потому-то этот народ и взыскан славой многих побед; потому все земли там утопают в богатствах и любая из них изобилует прекрасными городами. А среди самых чтимых и знаменитых городов, какими гордится Германия, одним из первых, сдается мне, должен по праву зваться Майнц, ибо он отличается красивейшими зданиями и, кроме того, стоит на реке Рейне, которая служит купеческому делу и торговле, несказанно обогащает город и доставляет ему выгодное сообщение с иноземцами.

В недавние времена жили там два купеческих семейства, всех превосходившие достатком и древностью рода. В одном из них был единственный сын по имени Герман, приятной внешности и в любом отношении безукоризненный; в другом единственная дочь по имени Флери, красивая и благовоспитанная. И эти семейства решили (ведь обычно подобное сочетается с подобным, если только не мешает зависть) объединить свои дома, женив детей, на что, казалось, было дано молчаливое согласие самого неба, наделившего обе стороны одинаковым возрастом, состоянием и добронравием, а также равной и взаимной любовью, притом такой, какая подобала их несовершеннолетним летам; и этой любви, успешно пустившей глубокие корни в нежной юности и возвращенной беспрепятственными беседами наедине, оставалось лишь увенчать свое цветение желанным плодом, а затем и созреть сообразно пылкому чаянию и обету родителей.

Но увы! когда их приятная надежда готова была обратиться в радость, Фортуна воспротивилась столь великому благу. Ибо, любезные дамы и господа, следует вам знать, что в доме этой девушки жил один молодой и разбитной слуга по имени Понифр, и этот слуга, будучи простым сторожем в лавке, только и делал, что глазел на прохожих и раздумывал, какая из красавиц первенствует в его мнении, решая про себя, какая смерть ему милей; однако по долгом и внимательном наблюдении признался себе, что искомое им рьяно на стороне находится подле него, потому что его юная госпожа несомненно превосходит всех девушек города, как луна превосходит самые яркие звезды. И он полюбил ее весьма сильно, оттого ли, что первый испытал склонность (это, говорят, благоприятствует любви), оттого ли, что такова была ее красота, или оттого, что излишняя праздность

побуждала его искать себе дело и занятие; и с тех пор ему осталось только поручить себя милосердию Амура, — а тот, доведя его в краткое время до полного отчаяния и угостив обычной своей первой переменной, то есть немymi взглядами, томными вздохами, печальным уединением и молчанием, уносящим душу за пределы света, внушил ему желание более плотной пищи и сытных кушаний; вследствие чего пламя любви к Флери, дразнившей его своей близостью, разгорелось в нем так жарко, что он не мог не возыметь намерения, namного превышавшего его жалкие силы, именно: просить у нее награды, вожденной для тех, кто сражается под знаменами Амура. И чем дольше он, сам не веря в себя и потому безумно страхась, откладывал исполнение своего замысла, тем глубже сей надменный укротитель сердец вонзал шпоры ему в бока, пока не вынудил его наконец забыть все преграды.

О, как охотно называл он ее теперь своей госпожой, прибегая к привычному языку влюбленных! но еще с большей охотой он подтверждал эти слова, стараясь так или иначе ей услужить. Однако простодушная девушка, еще не знавшая, что такое любовь, не обращала внимание на его учтивость и не могла отличить незнакомую ей прежде страсть. Уразумевший это слуга, недолго думая, решил, что ему, дабы наверное пробудить и успешно завоевать ее благосклонность, нужно объясниться прямо и без обиняков. И вот, рассудив, что новый разум требует нового платья, он наряжается пощегольски, расчесывает волосы, надевает брыжжи, глядится в зеркало и охорашивается с таким рвением, какому только могла научить его любовь; после чего, восчувствовав крайнюю отвагу, разыскал он уединившуюся госпожу и принялся заплетающимся языком рассказывать ей, как умел, все слышанное им о могуществе Амура: этот бог, мол, не щадит никого и (хуже уж некуда) в слепоте своей забавляется тем, что, без всякого разбора соединяя бедняков с вельможами, принуждает королей увиваться около красивой простолоудинки или себе на потеху заставляя богинь позабыть небеса ради объятий пригожего пастуха в сельской хижине.

— Вот почему, сударыня, — продолжал он, — я покорно прошу не удивляться, что совершенства, какими Природа вас одарила, дабы мы восхищались ею,

подчинили и поработили мои юные чувства настолько, что я вынужден молить, как последнего лекарства, вашего милостивого снисхождения. Ах, сударыня, я хорошо знаю: вы сочтете меня, занесшегося своей страстью так высоко, слишком дерзким и безрассудным, однако ж могу уверить, что если вы ищете достойного вашей красоты, взойдите лучше на небо, потому что на земле вам его никогда не найти.

Таковыми-то и подобными речами старался этот юноша улестить свою неискушенную госпожу, как вдруг ее строгий взор и лицо, вспыхнувшее от стыда, негодования и презрения, велели ему молчать, а грозная отповедь заставила его ощутить жгучее раскаяние в опрометчивой вольности; когда же, безмолвно снеся ее тяжкий гнев, он остался один, то походил на святотатца древности, коего низверг в преисподнюю мстительный перун Юпитера: ибо он увидел, что вернейший путь, каким все влюбленные достигают желанной цели, отныне для него закрыт. Ведь, по пословице, слушающая девица так же податлива, как вступающая в переговоры крепость, — а значит, верно и то, что глухую непросто соблазнить.

Увы! хотя влюбленный слепец понимал и не оспаривал эту истину, все же, коснея в упрямом вожделении, решил он, по благой привычке всегда хранивший бодрость духа, не отчаиваться в своих тщетных усилиях и положил надеяться на все превосмогающее время, которое может победить и самое неприступное целомудрие, так как женщины склонны видеть в настойчивости искателя постоянство и верность любви; иначе говоря — кто зверя гонит, тот его загонит.

Что ж! — утешал он сам себя, — Трою осаждали десять лет, а все-таки в конце она пала, причем когда казалось, что ее не взять, и враги сняли было осаду. Так и эту крепость взять трудно, но вовсе не невозможно. Вперед, вперед! чем тяжелее и опаснее битва, тем больше славы в победе; дело лишь за удачей, а она приходит неожиданно. И редко ли заяц, которого не могли настигнуть гончие, сам идет в расставленный силоч?

Поверив в это, влюбленный стал улучать всякую возможность для осуществления своего замысла, однако (бодливой корове бог рог не дает) преуспел не более чем если бы захотел добела отмыть ворону. Как рассудительные греки замазывали уши, чтобы не слы-

шать прельщающего пения коварных сирен, так добродетельная девица, чья непорочная молодость должна была бы служить зеркалом многим старухам, закрывала слух для его медоточивых речей, уподобляясь осторожному аспиду, который, по словам царственного пророка, вкладывает себе в ухо хвост, дабы не был слышен обманный зов недруга.

Это ставило в тупик нашего искателя, но он слышал, что какой бы вид ни принимали девушки, им весьма приятно быть любимыми, уверяясь чрез то в своих чарах, и только основанный на неотчетливом понятии чести стыд мешает им склониться туда, куда их более всего влечет; вследствие чего они отнюдь не прочь, чтобы их брали силой, избавляя от необходимости открытого согласия: свидетельство тому истории Медеи, Елены, Ариадны и превеликого множества других, которые заставляли себя похищать. И поэтому он пришел к убеждению, что было бы сущей глупостью, в то время как лукавая возлюбленная, быть может, втихомолку над ним потешается, напрасно изводить себя неустанным томлением и чрезмерной тратой сил, вместо того чтобы, отряхнув всякую робость, овладеть искомым благом с помощью сладостного принуждения. Но этот скверный расчет чуть было не обернулся изрядным уроном и едва не стоил ему жизни: на крик прибежала мать, и девушка готова была уже, обличив насилие, заставить наглеца дорого платить за его безумное посягательство; однако, вдруг сознав важность и нешуточность происшедшего, она рассудила, что лучше на этот раз поступить более снисходительно: ибо если навлечь столь страшную беду на того, чье единственное прегрешение заключается в излишней любви, как тогда следует обходиться с врагом? И она сделала вид, будто ее что-то испугало (а дело случилось в темном месте), и этим хитрым притворством обратила все в смех.

О, дева, зачем нужно было вашей стойкой непорочности сочетаться с такой великой кротостью! Почему, не пожаловавшись, как того требовало ваше право, вы взяли на себя провинность, заслуживавшую сурового возмездия? Дорого обошлась вам чрезмерная доброта! ибо, пощадив сумасброда, вы оставили ему смутную надежду, которую непременно вырвали бы с корнем, если бы знали, что не до конца угасший огонь может вновь запылать, когда этого никто не ждет.

И вправду, только поначалу казалось, что наш славный любовник впал в отчаяние или лишился последнего рассудка, увидев, как его вздохи растаяли в воздухе, домогательства пошли прахом, а покушение кончилось донельзя худо. Затем же, надеясь вопреки всему, хотя ничего он не добился ни так, ни этак и суровое целомудрие девушки, более искусной в укреплении твердыни, чем осаждающий в проламывании брешей, задавало ему всякий день новые задачи, вздумал он воспользоваться услугами какой-нибудь из посредниц в делах любви, которых зовут, с позволения сказать, своднями.

Я умолчала бы об этом, если для полноты моего рассказа не нужно было бы вас уведомить, что ученик в любви оказался с самого начала изрядным знатоком, ничего не упускавшим из виду; а к названному средству прибегнул он, считая его лучшим, — не только потому, что слышал, как искушены в своем подлом ремесле эти пронырливые женщины, подобно древней Сивилле низводящих смертных в ад, но и потому, что без их помощи, ему мнилось, не удастся отвести покров стыдливости, который только и мешает его Флери сказать «да».

Исполняясь сего рвения, направился он воскресным утром в приходский храм, где обратился к свечной торговке, испрашивая у нее просвещения в темном для него деле. Та охотно согласилась (все сводни тороваты на обещания), ради чего назначила ему встречу по окончании мессы; и пока шла служба, его взор, алчно устремлявшийся на прекрасную возлюбленную, как говорится, продавал ему шкуру неубитого медведя, внушая уверенность в заведомо неверном предприятии. Когда пришло время, он поспешил отыскать старуху; ничего не утаив, исповедался ей на ухо и попросил указать наилучший путь к осуществлению своего неколебимого намерения: одолеть или умереть, чему до сих пор нисколько не помогали и не благопоспешествовали беседы, в которые он каждодневно вовлекал жившую с ним под одной кровлей госпожу, — ведь чересчур короткое знакомство мешает любви, к тому же он напал на противницу, чей строгий нрав и суровый характер, равно как и бдительная охрана матери, соблюдавшей дочь не хуже, чем дракон золотые яблоки Гесперид, возбраняли всякое упование.

Старуха отвечала:

— Пусть так! не беда. Положитесь уж на меня! Если нельзя сразу попасть ей в тон, поможет бекар или бемоль; не нужно отчаиваться, дело мастера боится. Она не более грозна, чем львы или тигры, а даже их успешно приручают. И кроме того, запишите-ка себе в катехизис: о женщине можно судить только после ее смерти.

Словно спасительное снадобье, проглоченное больным, который жаждал исцеления от жгучей, мучительной лихорадки, укротили эти ободряющие слова пылкую страсть, несшую, как лошадь без удила, своего седока, — и, воспрянув духом, Понифр вручил старухе несколько монет; вслед за чем, выждав время, она стала пускать в ход все зловерные ухищрения, каким только мог ее научить долгий опыт. Однако, чтобы молвить кратко, все шло у нее неладно и нескладно, и, принужденная наконец отступить столь далеко, сколь ей мечталось продвинуться вперед, она должна была дать просителю неутешительный ответ, обрадовав его не меньше, чем радуется преступника смертный приговор; отчего стало Понифру так тошно, что он примирился бы с собственной гибелью, видя, как все идет наперекор его стараниям, будто он родился в последней четверти луны, — если бы вдруг ему не вспало на ум (ибо он хотел испытать все пути и ничем не пренебречь), что надо еще прибегнуть к помощи некоего всемогущего колдуна.

Этот колдун, потребовав большие деньги, которые захотел получить в руки, прежде чем взяться за дело, назначил несчастному влюбленному время и место, куда будет против воли приведена властью известных начертаний его гордая госпожа. Когда настал час, явился он, мерзостный, с обнаженными ногами и головой, из своей пещеры, обошел несколько раз вокруг кладбища, гнусава, как старая обезьяна, какие-то отвратительные слова, и затем, прутком означив на земном прахе нужные меты, сотворил такое множество заклятий, волхований, призываний и чародейств, что прельстил воображительные силы Пониффа, заставив его возлечь с призраком, коему придал точный вид Флери. Тонуций в мнимой неге, замороженный любовник изласкал жадным взором прекрасный облик возлюбленной, восхищаясь дивными извивами волнистых кудрей, ангельским лицом, алебастровой шеей,

округлыми грудями, белоснежными руками и всем, чем поражает совершенная красота, после чего, довершив наружную анатомию этого чуда, вне себя от восторга, хотел было возложить похотливые свои руки на плечи призрачной красавицы; но тут наваждение, исчерпав назначенный кудесником срок, внезапно кончилось и прелестное тело исчезло из его объятий, как лопнувший от дуновения ветра водяной пузырь, все наслаждение пропало подобно тени или сну ночному, и это настолько ошеломило бедного дурня, что если бы он пред тем на свое счастье не разлегся, то грянулся бы без чувств навзничь.

Думаю, досточтимые дамы и господа, что мой рассказ об этом весьма удивительном волшебстве не покажется неправдоподобным, когда вы примете во внимание, что Бог дает бесам власть искушать людей, и даже тех, кого больше любит, чему мы находим подтверждение в священных книгах; вспомните также древнейшие истории, которые свидетельствуют, что англичанин Мерлин произошел от женщины и беса, а ранее божественный Платон был зачат девственницей и демоном. Сходное пишут и о готских женщинах, беременевших в пустынях Скифии от призраков и лесных духов; прибавим сюда повествование Кардана о шотландке, которая делила ложе с домовым, принимавшим вид дворянина, и родила от него страшное чудище; а недавно то же случилось с девицей Магдалиной из Констанца. Моя история, впрочем, не заходит столь далеко, ибо я не хотела бы соглашаться с тем, что бесы наделены способностью деторождения: как из-за того, что наша религия запрещает верить, будто кто-либо, кроме Иисуса Христа, мог быть рожден без человеческого семени, так и потому, что природа не дала духам различия пола; хотя осмеливаюсь утверждать — и моей правдивой повестью, и авторитетом достойных писателей, особенно Лактанция, — что им возможно иметь плотское общение, дабы грязнить и осквернять людей, которым они заклятые враги. Не сочтем поэтому невероятным, что злой дух, ради нашего соблазна превращающийся, как говорит святой Павел, в ангела света, готов был играть роль блудницы, чтобы уловить на приваду любострастия человека, которым он уже завладел, и увлечь его к греху, какой сам же и вложил в его помыслы.

Но возвратимся к Понифру; пробыв длительное время в беспамятном исступлении, он мало-помалу вышел из забытья, отверз очи разума и смекнул, что, призывая на помощь чудодея, не следует удивляться, когда тот платит своей монетой, то есть мечтанием и мороком.

Итак, отчасти стыдясь и отчасти досадуя на глупое заблуждение, он встает и вместо того чтобы отказаться от безуспешного искательства, проникается неистовым желанием добиваться своего еще упорней, думая, что хуже ему не будет. И, ожесточась против собственных бедствий, напрягает все душевные силы, чтобы измыслить новые уловки: чуть было не взяла его охота испытать для внушения любви действие одноягодника, либо четырехлистника, либо какого-нибудь приворотного зелья, так как он счел, что это средство заменит и достославный пояс, коим Венера сопрягает влюбленных, и голубя, данного ею Ясону для обретения благосклонности Медеи (хотя Пиндар, видимо, понимает это иначе), и яблоки, что помогли удержать и завоевать резвую Аталанту. Но представив себе возможность несчастья — ведь многие из-за своего неумеренного пыла дарили смерть вместо любви, о чем свидетельствуют истории Деяниры и поэта Лукреция, — он не решился подвергать угрозе отравления ту, ради которой готов был сам тысячу раз умереть.

И все же, поскольку нет такого гнусного и безобразного помысла, какой ни вместило бы сердце человека, особенно если тот предается распутному вожделению, отважился он испытать шестое средство, столь чудовищное и страшное, что о нем не дерзнули бы думать и бесы: нашел способ — деньгами ли, посулами, или иной хитростью — прельстить домашних служанок, так что те, долго не противясь, стали благоволить его стремлению настолько, что обещали ему всяческую помощь и поддержку, какую только могли оказать. И заложили основу для дела худого: сговорились опоить несчастную девушку, как только мать отлучится из дому. А это было легко — не только потому, что она доверяла изменницам-горничным, которые и влили ей в питье некий тайный состав, но также благодаря местным нравам и обычаям, дозволявшим и даже советовавшим вдоволь пить, — что, конечно, несколько ее извиняет.

Ах, сколь разумно поступали древние, со всей строгостью запрещая вино детям, и еще строже женам, так что при нарушении ими запрета брак мог быть расторгнут! И лобзание уст они придумали нарочно для уличенья: прежде целовали глаза, как бы всматриваясь в окна души. А по закону Моисея тот, кого отец перед народом называл пьяницей, мог уже за одно это быть побит камнями. В самом деле, если мы пожелаем исследовать несчастья, приносимые вином, то заключим, что прав был Ликург, когда велел искоренить лозу, на беду нам насажденную Ноем, ибо признал вино величайшим врагом человеческого разума, уподобляющим людей животным: одних львам, как Александра, который омрачил единственным пороком винолюбия (искупленным, впрочем, благодаря внезапному раскаянию) все свои блистательные добродетели; других, как Марка Антония, — свиньям.

Не сочтем поэтому странным, что наша молоденькая германка, опьянев, покорилась бесстыдному сладострастию преследователя, и он, как только воля и разумение оставили ее беспомощное тело, получил удобную возможность насытить свое разнузданное и низменное желание, пользуясь помощью горничных, прислуживавших его гнусной похоти. И нужно ли удивляться, что несчастный с наслаждением осквернил лишенную рассудка плоть: бывало ведь, чувственный позыв приводил людей в такое беснование, что они решались утолить свое алчное вожделение мертвым телом, вживе стойко противившимся их коварству. Столь же бешеной была, видно, жажда этого зверообразного любовника: грязная вода пришлась ему по вкусу, и соитие привело к тому, что было зачато дитя.

Ощувив странное бремя, простодушная Флери (не знавшая, откуда ему взяться) была крайне поражена и решила, что гневная Природа желает явить в ее лице какое-то омерзительное диво, сделав ее матерью раньше, чем женщиной. И когда со временем, потребным для созревания плода, ее чрево расширилось так, что скрывать это было уже невозможно, она, обливаясь слезами, открыла матери, что чувствует себя беременной, хотя никогда не знала мужчины. Безмерно возмущенная мать употребила свои права и данную ей природой власть; однако, рассудив, что сделанного не воротишь, — отчего и надлежит, по совету мудреца, стара-

тельно отвращать беду, но если она вдруг придет, сохранять терпение, — попыталась угрозами, суровостью и иными средствами выведать у дочери имя виновника позора, чтобы принять должные меры и восстановить так или иначе ее честь. Но бедняжка, подвергшаяся насилию в полном беспамятстве, продолжала настаивать на своем неведении, твердя, что не знает, как такое могло стрястись, и что она ничего подобного вовеки не испытала.

Со всем тем пришлось ей испытать родильные муки, и, для неопытной в этом жестоком страдании женщины, снесла она их без всякого страха, ожидая, что желанная смерть положит конец ее жизни и незаслуженному бесчестью. Ибо, благородные дамы и господа, происшедшее стало тут же известно каждому, несмотря на то, что все сохранялось, елико можно, в тайне: ведь скорее заговорят птицы (как те, что разгласили смерть Паламеда) или собаки (как та, что обличила перед царем Персии убийцу своего господина), нежели такое событие останется сокрытым. Поэтому весь город только и делал, что говорил о беременности Флери, и когда двое судачили между собой, легко было угадать предмет их беседы.

Это весьма опечалило молодого сеньора Германа (всей душой любившего Флери и желавшего, как было мной сказано в начале, на ней жениться), и он, удрученный и рассерженный недоброй вестью, удалился в сельский дом, где, замкнувшись в скорбном уединении, предался горькому сожалению о любви к неверной, которая тщеславно похвалялась несравненной чистотой, а на деле (словно мнимые постники, приходящие на пир после сытного обеда) знай веселилась тишком. Потом, когда вспомнил он красоту и достоинства, отличавшие Флери, любовь заставила его обвинить самого себя, а осужденную всеми оправдать и (она ведь слепа) едва не повязала ему наглазную повязку, скрывая то, что не могло не колоть глаза; наконец, душа его, буруемая противоположными чувствами, вынесла несправедливый приговор.

— Ах, — сказал он, кусая губы, — должно быть, все женщины обманщицы, если даже в этой я обманул! И какой бы лживой личиной они ни прикрывались, изменчивая их душа верна любви лишь до тех пор, пока они видят возлюбленного, а с глаз долой, так из сердца вон! Освободясь же, они довольствуются кем попало,

совсем как зеркало, безразлично изображающее любые виды и картины, пока предметы стоят против и отпечатлеваются в нем, и готовое тотчас их оставить, как только перед ним окажется что-то иное. На сей счет нам вполне достает свидетельства мудрого царя Иудеи, назвавшего их бездной ненасытимой. И чрез меру самонадеян человек, думающий найти непорочную женщину: такое чудо встречается реже, чем единственный в своем роде Феникс, и могущественнейшие из государей, носивших венец, так и не могли обрести эту величайшую драгоценность. Истинно говорят о них снисходительные люди: женщина вправе, может быть, зваться целомудренной, если ее никто не домогался, и если она сама не набралась для этого духу, — ведь, по слову мудрого римского императора, добронравная дурнушка сходна с пуляркой, чьи перья в пренебрежении, а мясо в цене, тогда как красавица сходна с горностаем, чья шкура ценится, а тушка не ставится ни во что; столь непримирима вражда красоты и добронравия, никогда не селящихся в одном доме. А все рассказы о Лукреции, Кассандре и прочих — искусная ложь. И нельзя не прийти к убеждению, что природа создала червей для уничтожения мертвецов, а женщин — для уничтожения души и доброго имени живых людей, поселив их среди мужчин, словно негодных шершней среди пчел.

Так, отводя сердце, изливал отчаявшийся влюбленный свою ненависть к женскому полу. Пробыв за городом малое время, он настолько побледнел и исхудал, что всем видевшим его внушал жалость. И когда это стало известно его отцу, тот задумался, как сохранить здоровье сына. С этой целью, призвав Германа к себе, он разъяснил ему в беседе с глазу на глаз, сколь забылась Флери, совершившая проступок вполне достаточный, чтобы разорвать некогда заключенный между ними союз, и посоветовал избрать вместо нее любую девушку в городе, какая придется ему по душе; Герман же, вняв наставлению, положился на добрую волю родителя, желая во всем покорствовать ей, а от собственной воли отказался. И в краткий срок нашел ему добрый отец красивую, богатую и родовитую невесту по имени Карита. Вскоре сыграли свадьбу, и началась счастливая пора, когда пылкие желания супругов были устремлены единственно к тому, чтобы услаждать друг друга тончайшим вежеством и самыми нежными

ласками, какие только знает любовь, жадно, не упуская времени, предаваться удовольствиям и пожинать первый цвет своей юной весны. По старинному примеру военачальника Перикла они при каждой встрече или расставании всё целовались, как игривые голубки, — пока (ведь наслаждение может утомить, и нередко лакомства становятся тяжелы для желудка) молодой муж не надумал испросить отдыха от любви и оставить на время свою Кариту, чтобы заняться наконец купеческим делом. И он сговорился с несколькими друзьями ехать на ярмарку в Овер, чтобы там, если удастся, выручить барыш: однако всякий раз, как намеревался открыть этот замысел Карите, слова не шли у него с языка. Все же, видя, что деваться некуда и все его спутники уже собрались отъезжать, однажды ночью (знать, днем ему так и не хватило смелости), сжимая ее в объятьях, он сказал:

— Душа моя, едва вспоминаю я о деле, к которому призвал меня Бог, как ощущаю недовольство собой, оттого что пребываю в праздности, нежась у домашнего очага; между тем в мои лета благоразумные люди обычно пекутся о запасах, которые позволят им покоить свою старость: точь-в-точь как муравей трудится летом в предвиденье зимы. Пусть нам досталось какое-то добро (не так, впрочем, оно велико, чтобы вскоре не иссякнуть, если черпать без всякого пополнения) — коли о нас позаботились, то и мы должны заботиться о тех, кто от нас произойдет, а ведь когда приспеет убирать хлеб, поздно будет строить житницы. Вот почему, любимая, надобно мне, истомившемуся от безделья, впредь не забывать о своем долге и начать хоть какую-нибудь торговлю, а после Оверской ярмарки предпринять путешествие в Англию, откуда я, глядишь, ворочусь с прибылью, и притом смогу видеть и узнать чужие края, чему ранее ставила преграды безумная любовь не желавших терять меня из глаз родителей.

На это прекрасная Карита, чью душу во время его речи волновали разные чувства, отвечала:

— Боги праведные! неужели, друг мой, вы теперь так скучаете супружеством, что вопреки старинному обычаю не в силах дожидаться окончания года, дающего всем мужьям право и свободу заниматься их делом? Или вы враг самому себе и, как умалишенный, ищете отдыха в трудах, довольства в бедствии, утешения в

скорби и покоя в опасности? Если же вам и вправду ведомо, из какого теста странствующие купцы и каким угрозам они подвергают свою несчастную жизнь, то, надо думать, вы ненавидите меня, желая собственной гибели. Ах, отчего удел смертных так жалок и неверен, и вместо чаемой радости они находят печаль? Увы! Когда я была девушкой, то не знала никаких забот (так резвится всюду, где вздумается, еще не испытавшая гнет ярма телища), но в то мгновение, как я отказалась от моей природной свободы, укрепив якорь жизненных радостей в браке, я обрекла себя терпеть мучительство чужого человека. Если бы муж и жена были единой плотью, и я располагала половиной вас, как вы располагаете половиной меня по своему праву, да и второй половиной по моей доброй воле, — я бы тогда потребовала, чтобы вы предоставили в мое распоряжение по меньшей мере ту вашу половину, которая принадлежит и подчиняется мне. Вы же вопреки моему несогласию и осуждению распоряжаетесь целым, ища общества львов!

Тут она прервала свою речь страстным поцелуем и затем продолжила ее с новым пылом, говоря:

— Наверное, вы пресытились одним кушаньем и теперь хотите перемены. Знаю я: вместе с вами покинет меня и ваша любовь, чтобы обратиться на другую подругу, а там новое пламя заглушит прежнее, чересчур для вас старое; в то время как я, проклиная корыстолюбие, ставшее причиной моих горестей, буду ждать здесь и тревожиться, думая, что какое-то несчастье замедлило ваше желанное возвращение. А что бы помешало мне, коли вы неудержимо рветесь видеть чужие земли, странствовать вместе с вами в мужском платье, как поступила жена царя Митридата? Право, если вы меня покинете, мне будет хуже, чем простым сельчанкам: они-то, самое меньшее, видят своих мужей каждый вечер, когда те возвращаются после дневных трудов.

Так, уstraшенное предстоящей разлукой, распалилось нежное сердце влюбленной, точно горы под действием мехов, и от силы этого жара истаявало оно слезами, как весеннее облачко под лучами солнца. И юный супруг, осушая сомкнутыми устами эту теплую росу, молвил ей в ответ:

— Поистине, дорогая, ты не любишь меня, как другие любят своих мужей, если опасешься, что я не

сберегу нашу любовь, хотя я и не давал повода к такому подозрению: измена столь далека от моих намерений, что пусть скорее испепелит меня огонь небесный, нежели новая любовь зажжется в моем сердце, увлекая к обману и разрушению нашего брачного союза. Верьте, любовь к вам не состарится во мне, как вы сказали, но пребудет вечно юной, словно на картинах живописцев, изображающих ее в образе дитяти. А если вы скажете, что живописцы придают ей крылья и тем означают ее быстролетность и непостоянство, я признаюсь: моя любовь по природе своей была такой, но едва только волей благого рока вы ею завладели, то, как поступает девочка с мотыльком, чтобы он не улетел, отсекали ей крылья весьма коротко, и с тех пор она может порхать лишь рядом с вами. Поэтому не опасайтесь, молю вас, что я, сменив страну и местность, переменюсь к вам; напротив, ожидайте, что моя любовь, подобно жару, разгорающемуся в пепле, будет пылать все сильнее в тайных мыслях о вас, а когда я возвращусь, вы найдете ее столь умножившейся, что поневоле скажете: мой муж ездил наживать доброту и ласковость.

Так утешал мягкосердый Герман свою милую Кариту; она же, начав смиряться, привлекла его томными руками к себе и сказала:

— Мой дорогой друг, вы вольны располагать и собой, и мной по своему усмотрению, ведь единственное мое удовольствие — радовать вас; впрочем, да будет вам известно, что, отказываясь увезти с собой это тело, вы (даже против желания) увезете мое сердце, мою душу и мои нежные чувства; а они, хотя и велики числом, не расстанутся с вами, ибо когда вы поплывете, они укроются на носу корабля, когда поедете верхом, сядут за седлом, а когда пойдете пешком, будут, как верный слуга, идти подле вас.

С тем супруги заключили мир, удостоверив его пылкими объятьями или, лучше сказать, обоюдным пылом. И сеньор Герман, заготовив все, что было нужно для путешествия, полный грусти, на шесть месяцев распрощался с молодой женой. Ах, он простился бы навеки, если бы знал, какие несчастья ждут впереди, и понимал, что в последний раз видит жену, вверяемую опеке брата, которому поручил отвезти ее к дяде в Шпейер, где ей легче было сносить тоску по отсутствующему другу.

Но пусть, пока угодно госпоже Фортуне, Герман безбедно следует своей дорогой, а мы на время возвратимся к Флери, которая, стыдясь рождения ребенка и чувствуя из-за своего позора отвращение к жизни, обрекла себя добровольному заточению и погрузилась в глубочайшее уныние, так что жалко было видеть, как сильно она страдает, особенно когда вспоминает прежнюю любовь Германа.

— О! зачем только, — восклицала она, — небо прочило мне такое счастье, мирясь с тем, что позже я стану его недостойна? Не лучше ль ему было поразить меня громом? Я, по крайней мере, умерла бы счастливой. Ах! Герман, милый мой Герман, отчего вы поместили вашу юную любовь столь худо, что пришлось (я знаю, вы этого вовсе не хотели) искать иное место? Но едва ли, мой друг, вы нашли лучшую подругу — разве только более удачливую. Впрочем, вы поступили справедливо: мое странное несчастье таково, что приходится признавать вину и мириться с незаслуженным наказанием. Будьте же вечно, вечно счастливы, мой друг, с вашей Каритой, а чтоб не остаться в долгу за мое благословение, молитесь Бога положить скорый конец муке, которую вы меня заставляете терпеть.

Так без устали, не давая себе ни отдыха, ни срока, сетовала и лила слезы отчаявшаяся Флери. Видя это, крайне огорченная мать, прежде метавшая в дочку громы и молнии, всячески старалась ее утешить. А лучшим утешением, думала мать, было бы найти ей жениха. И для этого употребляла она все свои силы. Но как дивный фиал, который только что, украшая пир, блистал на поставце, лишают, едва он разобьется, всякой чести и бросают в непригожее место, так эта красавица, которой недавно помогали все, ныне стала всеми презираема. Тогда бедная мать решилась взять в зятя слугу Понифра, зная его как хорошего юношу. Тот вначале соорил кислое лицо и весьма-таки заартачился; однако после недолгих увещаний согласился. Куда труднее было уговорить Флери, которая, вознамерясь искупить грех вечным покаянием, упорствовала в своей суровой решимости, пока в конце концов, побежденная неотступными просьбами всей родни и заклинаяемая дочерним почтением, каким была она обязана матери, не склонилась к браку, и брак этот был спешно устроен ее доброй родительницей.

Перво-наперво матушка прочла отменное наставление Понифру, сказав, что честь, которой его удостоили, должна навсегда отбить у него желание упрекать ее дочь в былом грехе или худо с ней обходиться, иначе он поступит как тот, кто плюет в небо и попадает плевком в собственное лицо. Затем, точно так же уничижив дочь напоминанием и порицанием ее дурного поступка, совершенно противного полученному ею доброму воспитанию, и наказав ей быть верной и послушной женой, велела она со всей пышностью праздновать свадьбу; и во время пира достигнувший желанной цели жених был несказанно рад и счастлив, отчего и пригласил всех собравшихся по его примеру угоститься на славу.

И если это супружество началось весьма приятно, то продолжение его было еще счастливее: казалось, сменяющие друг друга дни обязались доставлять новобрачным новые и новые утехы, одни слаще других, — пока, на беду, однажды молодой муж, устроив званую пирушку, не забылся настолько, что, желая по местному обычаю напоить каждого гостя, испил здравицу едва не со всеми и весьма раззадорился, так что после обеда готов был идти в пляс без приглашения, пустился чесать языком, раздобаривать напропалую и пришел в такой раж, что, брызгая слюной, рассказал о всех муках, какие претерпел из любви к Флери, и о том, как, наконец опоив ее с помощью горничных, ею наслаждался, причем не упускал ничего из слышанного нами.

Этот рассказ тяжело поразил всех присутствовавших, кроме Флери: она одна почла себя довольной и счастливой, что правда (древле спасшая Сусанну), хотя и оставалась в тайне более года после ее замужества, теперь вышла наружу. И пользуясь откровенным признанием, сделанным в присутствии неотводимых свидетелей, она потребовала, чтобы длань правосудия отмстила нанесенную ей обиду и бесчестье. По этому настоящему иску наш пьянчужка вместе с названными им горничными был брошен в тесную темницу, — и можете поверить, что Понифр, вытрезвясь и видя себя на новом жительстве, был удивлен не менее Флери, вдруг ощутившей беременность.

Наутро его допросили о вчерашнем, чтобы проверить, подтвердит ли он сказанное; однако он стал отпираться, начисто и безоговорочно все отрицать, объясняя свою исповедь пьяным помешательством: ей, дескать,

можно верить не больше, чем бредням сумасшедшего, отличающегося от пьяницы, как учат мудрецы, лишь одним: тот может проспаться, а дурак никогда. Ведь великодушный Пирр простил злословивших его, когда они признались: «Государь, мы совсем иначе говорили бы о вас, если бы нас не расслабило вино», и женщина, осужденная македонским царем Филиппом в послеобеденное время, выиграла свое дело, добившись нового рассмотрения, когда царь судил натошак, — поэтому несправедливо вменять ему в вину сказанное или сделанное под хмельком.

Обдумавшие его слова судьи, не намереваясь приговоривать к повешению винную бутылку и к тому же сознавая всю очевидность злодеяния, отдали в пытку обвиняемых горничных: те, будучи хрупкого пола, из боязни и страха перед мучениями немедленно признали истину, и затем были приведены на очную ставку с преступником, который, видя себя окончательно уличенным, стал молить суд о пощаде, а жену о прощении.

Но она была уязвлена слишком глубоко, и по ее неукоснительному требованию горничных, содействовавших злополучному браку и бывших виновницами несчастья, осудили на сожжение заживо. (И то сказать: если законы строжайше наказывают челядь за воровство, даже когда кража невелика, как следовало бы покарать ужасную измену тех, кто был обязан госпоже наибольшей верностью?) А Понифр в силу того же приговора присутствовал на их казни, держа факел в руке, после чего был колесован и, полумертвый, брошен в еще пылавший огонь.

Итак, мы видим, что вино, послужившее распутному наслаждению Понифра, принесло ему жестокую и позорную гибель, подстрекнув сознаться без всякого принуждения в совершенном злодействе: некогда подобное случилось с императором Клавдием, во хмелю открывшим супруге Агриппине свою тайную нелюбовь к ней; такова же была добровольная геенна тех, у кого в былые времена хитрые тираны хотели выманить признание об умышлявшемся против них заговоре. Вот откуда пословица: истина в вине. И замечу мимоходом, что отсюда же, сдается мне, возник обычай германцев принуждать гостей к неумеренному питью на пиру: трезвые ведь могут рассказать о том, что делалось или говорилось между пьяными. С этим согласно греческое

присловье: пей или уходи; и другая старинная поговорка: не терплю памятливого собутыльника.

Известие об удивительном происшествии, досточтимые дамы и господа, во мгновение ока облетело всю Германию. И когда это известие достигло ушей Кариты (хорошо помнившей о любви, какую питали друг к другу в юные лета Герман и Флери), она, рассудив, что Флери теперь осталась без мужа и восстановила свою добрую славу, пожелала испытать, как будет вести себя Герман, и для того велела распустить в Майнце слух, якобы она в гостях у дяди умерла.

Случилось так, что эта ложная молва и весть о примерной казни Понифра дошли до сеньора Германа почти в одно время. И разом был он осажден несколькими врагами. С одной стороны, захлебывалось его сердце горечью скорби о прелестной Карите; с другой — трепетало нежной жалостью к безвинно опозоренной Флери, — ведь несмотря на то, что ее с избытком оправдала виновность злосчастного Понифра, да и ее собственный грех (если о таковом можно говорить) был целиком покрыт и искуплен последовавшим законным браком, для ее сурового целомудрия мало было и столь полного удовлетворения: из любви к чести она покарала самое себя, требуя смертного приговора для собственного мужа, и, отнюдь не тронутая воспоминанием нег, неразлучных с первой порой супружества, добилась гибели того, кто погубил ее доброе имя. Тем паче достойна была хвалы эта оскорбленная и попранная дева: ведь она могла восстановить свою незапятнанность только ценой безотрадного вдовства. Справедливое же наказание, постигшее ничтожного раба за его дерзкое, неслыханное злодейство и отмстившее обиду госпожи, так радовало Германа, что, побеждаемый различными чувствами, не знал он, какому подчиниться и отдать предпочтение, — пока наконец любовь не отняла у него свободу выбора и не употребила право господина над своим вассалом, вновь воспалая и разжигая в его печени (природном вместилище любовных желаний) прежний огонь, который время лишь присыпало золой, но не угасило. И тогда он понял, что судьба, желая изгладить причиненное зло, доставила ему ныне удобный случай к вознаграждению и удовлетворению, сделав его и Флери вдовыми в одно время. С этой мыслью, полный добрых надежд, покинул

он Овер как можно быстрее и направился в Майнц вновь завоевывать место, которым некогда владел в сердце дамы. И боясь быть опереженным кем-нибудь другим, доказал он неудержимой стремительностью правоту мудрейшего из греков, по чьему мнению любовь изображают с крыльями только оттого, что она как бы дарует крылья своим пылким подданным.

Но пусть он себе спешит, а нам хочется вновь видеть, что делает добродетельная Флери, которую теперь все почитали счастливой: в этом мире ничто ведь не постоянно — и тому, что мы браним сегодня, приходится днем позже воздавать хвалы.

Казалось, она была отомщена вполне: но ее доблестное сердце не удовлетворялось этим и желало оставить потомству вечное воспоминание о своей необычайной твердости. И вот, уединясь в доме матери (по ее приказанию все были удалены), она разожгла огонь, повесила над ним котел с вином и, между тем как оно нагревалось, стала, устремив залитый слезами взор на свое дитя, оглашать горницу печальными жалобами и сетованиями; затем, взяв чернила и бумагу, написала завещание: в нем, вознеся благодарность богу за щедрые дары, предала душу в его руки и, поручив малютку сына (свидетельство ее греха) бабке, назначила плоть свою искупительной жертвой за свое честное имя. После чего, обратив лицо к огню, она увидела, что вино уже кипит и клокочет пеною; спешно подписала бумагу, запечатала ее и трепетной рукой спрятала на груди, несчастного младенчика, которую, многократно расцеловав, окропила теплыми слезами, а затем, встав, сказала:

— О дух мой, настал час, когда ты отмстишь этой злодейке-плоти, удостоверив непреложно, что не был обещен вместе с ней, но до конца пребыл чистым и непорочным. А ты, злодейка-плоть, умрешь за измену своему господину, и умрешь ты от того же самого, что служило твоему преступлению.

Тут с неистовой, почти безумной решимостью она взяла в руки котел, в котором бурлило вино, и осушила его весь до последней капли, не содрогнувшись, хотя испытывала жесточайшее мучение, — пока ее внутренности, спаленные безмерным жаром, не стали сседаться и рваться с такой болью, что смерти оставалось лишь как можно скорее эту боль унять и изгнать из

страждущего тела прекрасную душу, дабы вознести ее к славе и вечному блаженству.

О диковинная и неслыханная казнь, редчайшая, как и доблесть этой женщины! можно ли назвать что-либо подобное? Муки английского принца, утопленного за свое честолюбие в бочке с мальвазией, не идут в сравнение. Ибо здесь мы в одной смерти видим две: короля Англии Одебунта от избытка питья и г-на Офиля Бателера от его избыточного жара.

Эта удивительная смерть не осталась в тайне, и молва о ней родила глубокое сострадание в сердцах горожан, которые стеклись отовсюду, привлеченные небывалым происшествием, а равно и с тем, чтобы отдать последнюю почесть несокрушимому целомудрию. Ради чего все дамы города, облекшись в траур телом и душой, с великой торжественностью проводили останки Флери (былой сосуд всех совершенств) в могилу. И над ней для вечной памяти о доблестном деянии было иждивением города воздвигнуто величественное и пышное надгробие.

О блаженная усыпальница! Пусть манна, подобно росе ниспадающая из прозрачного воздуха, умягчает твой камень, пусть окружают тебя во всякое время года розы и гвоздики, венчая почившую здесь красоту, а пчелы и веселые бабочки не улетают отсюда вовеки, деля общество с обитающими тебя грациями. Но да вянут здесь, не успев произрасти, тернии и крапива, и да опасаются змеи приближаться к сему храму чистоты: ведь прекрасная госпожа так ненавидела порок!

Горестный слух о смерти Флери разнесся повсюду, милостивые дамы и господа, и не замедлил достигнуть сеньора Германа, который был уже, почитайте, в полусутках пути от Майнца и надеялся по прибытии туда обрести достойное награждение за свои труды, — но как раз в это время некто, возвращавшийся с погребения, известил его о славной кончине единственной, ради которой он теперь жил. Услышав эту скорбную весть, бедный влюбленный, к общему изумлению, пал бездыханным, и после того как пробовали растирать ему виски уксусом, брызгать в лицо холодной водой, кричать в уши, толкать, трясти и применять иные средства, какие только знали, стало ясно, что помочь тут нечем. А случилось это вследствие мгновенного перехода от великой радости к великому горю, бывшего, как

рассудили и заключили призванные врачи, причиной смертельной судороги, — из-за сужения и сжатия мозгового желудочка, каковое и преградило путь жизненных духов, понуждая их изойти вон.

Ах, незадачливый влюбленный, зачем ты так скоро мчался, ускорив тем лишь собственную гибель? Недаром Дионисий Старший говорил, что блажен человек, смолоду приучивший себя быть несчастным, и что бык легче терпит ярмо, если был укрощен во благовремение. И по праву славится иное речение этого греческого мудреца: нет горя хуже, чем неумение снести горе. Увы! Когда любовь сильна, то сильна и печаль утраты: жгучая боль отняла у пламенного сердца Германа всякую возможность утешения, или — ведь утешить себя, как говорил Фалес, слишком трудно, труднее даже, чем врачу самому исцелиться, — не позволила ему дожидаться хотя бы ободряющего слова друга. А это наиболее могучее лекарство, что и признал изведавший его действие Фалерей, после того как, будучи жалким изгнанником, лишенным царской власти, повстречал Кратета.

Слезы о смерти Флери еще не высохли на щеках жителей Майнца, когда служитель Германа принес известие о его печальном конце, рассказав также и о несбывшихся помыслах своего господина, ибо был его преданным поверенным в любви. И тогда все, пораженные случившимся, не могли не прийти к заключению, что смерть объявила войну любви и задумала из вражды и ненависти к ней уничтожить самых ревностных ее подданных и что, начав Флери и Германом, она не будет отдыхать и увенчает свой труд остающейся еще в живых Каритой.

Карита же, как я вам уже сказывала, из любопытства или скорее из ревности объявившая себя умершей, — рассчитывая проверить, есть ли еще у старой любви мужа сила воскреснуть, — теперь, когда Германа, увы, не стало, воскресла сама и, надо вам знать, не умерла от скорби тут же, ибо нашла ее слишком великой, чтобы исчерпать так скоро, но, пожелав длить ее сколь можно более (как он заслуживал), навсегда затворилась в монашеской обители. И хотя не вызывала сомнения вина ее мужа (мгновенно, словно его коснулась трость Цирцеи или он отведал наговорной травы, превратившегося из верного супруга в ветреного влю-



бленного), она винила только себя, проложившую путь несчастью, творила неустанное покаяние и не желала слышать о новом замужестве, полагая вместе с рассудительным Хилоном, что безумен тот, кто, с трудом избегнув гибельного крушения, вновь решает выйти в море, как будто буря не властна над всеми кораблями.

А свидетельством любви ее и Германа осталась красавица дочь, которая, по желанию благосклонных судеб, вступила (после многих испытаний) в брак с сыном Флери, — однако их история принадлежит нашему повествованию лишь тем, что рассказывает, как в конце концов, наперекор завистливой Фортуне и злобному вероломству людей, изволением небес сочетались и объединились славные дома Германа и Флери.

Итак, благосклонные дамы и господа, вы могли ясно видеть из этой правдивой повести, что несчастья в любви всегда происходят из-за прегрешения мужчины. Ибо, скажите, можно ли требовать более искренней и верной любви, нежели чувство этих двух дам, явленное с такой силой, словно они состязались, оспаривая первенство среди любящих? Флери не пожелала жить, утратив непорочность, в которой полагала все свое достоинство и счастье, и настолько возлюбила честь, что из этой любви не могла простить милого ей и хорошо с ней обходившегося мужа, намного превзойдя славу женщины, выпившей пополам со своим возлюбленным Синорипом яд и тем исполнившей долг перед останками своего мужа и собственной стыдливостью; или той, что отомстила поруганную честь, хитростью свалив в колодец недогадливого воина. Она превзошла твердостью даже ту римлянку, которая из беспредельной любви к умершему супругу последовала за ним, проглотив пылающие угли. Карита же правила траур по мужу вечным вдовством, добровольно отказавшись от всех наслаждений. Этим благим рвением сравнялась она с прекрасной Валерией, сказавшей после смерти мужа, что он умер для остальных, а для нее вечно жив, и превысила силой духа царицу Артемизу, которая, выпив растворенный пепел мужа, воздвигла ему драгоценную гробницу в своей груди. Я думаю, кстати, что женщины, выходящие замуж во второй раз, не делают чести первому супругу, с кем, казалось бы, погребали они свою способность любить. В этом их может посра-

мить горлица, никогда не соединяющаяся с новым другом. Неложно говорят, что первые браки делаются на небесах, а вторые в аду, и если такой брак бывает удачным и счастливым, значит, сатана оплошал. И правильно поступила дочь великого царя Дария Родопа, убив свою кормилицу, убеждавшую ее выйти замуж вновь: ведь для второго брака соответствующих друг другу супругов найти труднее, чем приискать к половине ореховой скорлупы отвечающую ей другую половину, отличную от той, с какой первая была разделена. Я прибегаю к этому бесхитростному сравнению, потому что, на мой взгляд, оно понятнее любомудрствования Платона об Андрогине. Впрочем, довольно о необыкновенной добродетели женщин, явленной в этих двух дамах; прошу вас теперь, сравните с ней злобу мужчин, выказавшуюся в коварнейших поступках Понифра и Германа.

Тут сеньор Флер-д'Амур, взмолясь о милостивом снисхождении, сказал:

— Не сердитесь, мадемуазель, что я вас прерываю: вы должны быть удовлетворены безропотностью, с какой я внимаю похвалы женщинам, и не обременять меня излишне, хуля мужчин, которых намереваетесь приплести к делу совсем неосновательно. По моему мнению, Понифр не заслуживает осуждения, ибо поступил всего лишь как веселый малый, искавший удачи в жизни, — я даже готов хвалить его за то, что он добился своего; и напротив, я не могу одобрить Флери, ибо она ничего не достигла, погубив человека, который, женившись на ней, искупил и загладил свой грех; разве только обнаружила неумеренную жажду мести, от природы свойственную женщинам, — чему свидетель поэт, говорящий, что голодная львица, затравленный собаками вепрь, тигрица, у которой украли детенышей, и змея, когда ей наступили на хвост, не более страшны, чем оскорбленная женщина. Что же до Германа, то мог ли он, лишившись (как ему казалось) жены, поступить иначе, нежели без отлагательства искать новую, а не плакать, словно малое дитя, потерявшее яблоко и мнящее, что в целом мире нет другого? По мне, величайшая глупость долго оставаться вдовым, если, разумеется, не иметь целью нажить состояние для второй женитьбы: ведь и сами умершие охотно заботятся и пекутся о новом браке супруга.

— Это правда, — отвечала мадемуазель Мари, — и я с вами не спору; но скажите, не подобало ли ему для новой женитьбы выждать хотя бы год, который древние называли годом траура? Только не говорите, будто законы тут разумеют одних женщин, оттого что если они незамедлительно вступают в новое замужество и вскоре рожают ребенка, может быть не ясно, кто его отец. Год траура учрежден законами священными, которые даны нам для совершенствования нравов, и учрежден он ради общественной благопристойности, равно касающейся мужчин и женщин: против нее Герман очевидно согрешил, обнаружив уже вторично свою ветреность и непостоянство. А в первый раз это было, когда он, пресыщенный наслаждениями, захотел ехать на ярмарку в Овер, где изменил-таки своей любви: уж лучше бы он верил жене. Я хочу, однако, доказать вам, что сужу непредвзято и по всей истине, с этой целью найду я толику порицания и для Кариты, решившей вызнаться, влюблен ли ее муж. Жестоко обманулась она в своем любопытстве — за чем пойдешь, то найдешь, хотя и не хочешь; этому учит и горестная история любви Кефала и Прокриды. Ну и что же? Нет святого в раю без праздника, нет смертного на земле без греха. Если в чем можно воистину упрекнуть женщин, так это в ревности, следующей за ними как тень. Доблестный король Альфонс говорил, что прекрасен брак, коли муж глух, а жена слепа. И этим, думается, снимал он вину с женщин: для чего же еще он желает им слепоты, как не с целью скрыть от них проступки мужей? Оставляю судить вам, кто более достоин порицания: совершающий грех или уличающий его в этом. Прибавьте к сказанному, что ревность происходит не от чего иного, как от избытка любви, и женщины, любящие более искренне, чем мужчины, ревнивы поневоле. А что до оправданий, которыми вы, словно худой рогожей, тщите прикрыть злодеяние Понифра, то я охотно бы извинила его, если бы он домогался ровни и прибегал к дозволенным средствам, но он метил дальше, чем мог бить его лук, а это непомерная дерзость. И хотя говорят, что нет порока в любви к тому, кто более знатен, мне думается все же (как Деянире у Овидия), что плуг тогда запряжен хорошо, когда в пару подобраны по возможности одинаковые статью и силой быки, с тем чтобы во время пахоты они ступали ровно; так же и в браке

нужно совершеннейшее равенство и по возможности полное единодушие, иначе один, словно заноза в ступне, будет мешать другому двигаться вперед. А в том, что вы называете настойчивостью Понифра, я вижу нестерпимую наглость.

На это съёр Флер-д'Амур возразил:

— Прошу, мадемуазель, пусть хвала женщинам, которую вам угодно слагать, ограничивается их заслугами и не умножается охулением бедных мужчин. Ибо если мы захотели бы считаться, вам было бы весьма нелегко дать отчет в делах пресловутых женщин, повашему, столь добродетельных. К слову молвить, из того, что одна кончила с собой, а вторая нет, следует, что кто-то — та или другая — поступила нехорошо. И пусть историки говорят, что самоубийство было единственным доблестным деянием Сарданапала (потому что этот поступок требует немалой отваги), — даже законы язычников не одобряли такой смерти, особенно если ее причиной было сознание собственной вины, насылающее на преступника бесчисленных фурий, как мы читаем об Оресте; или страх попасть в руки врага, как у Ганнибала; или стремление избежать бесчестья, как было с поэтом Галлом, или желание избавиться от болезни, которую не может осилить ни одно лекарство, как у Порция Латрона, жаждавшего излечиться от перемежающейся лихорадки; или любовная невоздержанность, как было с Тисбой и Пирамом; или досада из-за невозможности достигнуть желанной цели, как у Нереры, узнавшей, что ее возлюбленный женится на другой; или еще какое-нибудь огорчение. Правда, языческая вера извиняла тех, кто кончает с собой из похвальных побуждений, например ради спасения своей невинности, как поступили Дидона, Софрония и красавец Демокл; или желая знать, что происходит в ином мире, как Клеомброр и жительницы Милета; или чтобы принести своей смертью пользу государству, как поступили всадник Марций и император Отон, а порой — из боязни ему повредить, как был вынужден сделать Фемистокл; или же устав от слишком долгой жизни, как Помпоний Атик. Поэтому великий Плиний и называет наибольшим благом, дарованным природой человеку, право умереть когда захочется; однако с этим нисколько не согласно справедливое суждение Платона, который не хочет мириться с тем, чтобы человек был

волен в столь важном деле, и утверждает, что самоубийца достоин сурового суда, как покидающий войско без позволения начальника солдат или бегущий из темницы узник. Это явно против вашей Флери, — однако мы не хотели вступать с вами в прения, даже понимая, что ради ее оправдания вы черните Понифра, который будто бы ее опоил. Если бы и вправду было так, то она, готов признать, потеряла бы девство, но понести никак не могла: ибо я не верю, что пьяная женщина способна зачать. Недаром вы в своем рассказе перескочили через это место не замочив ног, и удовлетворили меня далеко не полностью.

— Я обошла его молчанием, — сказала мадемуазель Мари, — чтобы не злоупотреблять благоволением слушателей, растягивая мою повесть, и не оскорблять их чувств описанием этого гнусного дела, — не говоря уже, что самое ваше мнение небесспорно и является предметом разногласий среди тех, кто наиболее скрупулезно исследует тайные законы природы; мне же не пристало входить в столь тонкие и глубокие размышления. Но чтобы моя история не осталась с изъяном, я, коли вам хочется, уподоблюсь клирику, судящему о битвах, и скажу, что думаю, — не оспаривая, впрочем, превосходства вашего ума, которому и отдам на суд мое мнение. Мне хорошо известно, что вино, употребленное в меру, всеми признается стрекалом сладострастия, по старинной пословице: без Вакха и Цереры Венера охладевает. Потому-то Анахарсис, услышав упрек в женитьбе на дурнушке, сказал: налейте мне вина, и я сочту ее прекрасной. Однако же, будучи употреблено чрез меру, вино делает тело вялым, косным, оцепенелым, бессильным и неспособным к любви, потому что переполняет желудок лишней влагой, вызывая расслабление мозга, нервную дрожь и упадок сил, а все это прямо вредит зачатию, для которого нужен горячий пыл и гармония телесных соков. И мы можем вместе с Пифагором сказать, что лоза приносит три урожая, из коих первый утоляет жажду, второй дурманит, третий же повергает в полное оупение; поэтому горькие пьяницы не слишком женолюбивы, и пьянство, как правило, неразлучно со старостью, женолюбие же оставляет человека, когда он расстаётся с молодостью. Я этого не оспариваю, но не согласна, что опьянение совсем отнимает способность к зачатию: многие доводы и примеры заставляют меня

думать иначе. И во всяком случае я не допускаю различия, которое склонны иные проводить здесь между действующим и страждущим, полагая, будто пьяный мужчина не может зародить ребенка, даже если женщина трезва, так как неблагорасположенность господствующего в зачатии, даятеля первосущной формы, уничтожает самую возможность этого. Такое суждение противоречит истории, сообщающей нам, что девица Циана из Сиракуз и римлянка Медуллина забеременели от собственных отцов, которые были пьяны. Я считаю решением спора (и в этом меня не разубедить) следующее: когда пьян кто-то один, зачатие возможно, — хотя это зачатие, конечно, не будет удачным, ибо изъян здесь ничем не восполним, пусть он и не мешает делу. И от этого дети рождаются слабыми, болезненными и придурковатыми: тому свидетель Диоген, говоривший при виде малоумного ребенка, что это сын пьяницы. Если же пьяны и мужчина, и женщина, зачатие, я полагаю, вовсе невозможно из-за расстройства природных способностей, разлада телесных соков, упадка сил и ослабления естественной возбудимости, управляемой воображением. И по той же причине, если мужчина и женщина имеют одинаковый холерический или меланхолический склад, их соединение всегда будет бесплодным; мы вправе так заключить, не приводя простейших рассуждений о зачатии и его условиях, которые девице пристало разве слушать, но отнюдь не произносить. Мне сдается, сказанное вполне доказывает возможность того, что опьяневшая Флери забеременела от своего трезвого мужа.

— Если спросить меня, — сказал съёр де Бель-Акей, — то, по-моему, лишь живая втягивающая сила способствует излитию семени в готовый воспринять его сосуд, и оттого женщина, не испытывающая наслаждения (что и бывает, если она пьяна), никогда не может зачать, каким бы жаром и густотой ни обладало семя. И никогда беременная женщина не убедит меня, что ее обрюхатили силой, ибо по непреложному закону (пусть с ним не согласятся повитухи) любая женщина, забеременевшая будто бы против воли, рождает с радостью.

— Помилуйте, — сказала мадемуазель Маргарита, — если бы это было так, то отсюда следовала бы сущая нелепица. Вы ведь не станете отрицать, что чело-

веческое наслаждение отлично от наслаждения животных, потому что люди благодаря дарованным им чувствам различают наружную красоту, вследствие чего и зарождается любовь — единственная побудительная причина соития, которое приводит к зачатию ребенка. Из этого явствует, что деторождение невозможно без соития, соитие без любви, любовь без созерцания достойной красоты. Но коли это верно, по-вашему, выходило бы, что слепые, как мужчины, так и женщины, вовек не имели бы детей, ибо они не видят ничего, что их к тому может побуждать, — а это прямой вздор. Кроме того, нужно было бы думать, что зачатие тем вероятней, чем сильнее наслаждение. Однако мы часто видим супругов, которые не могут произвести детей в первый год после свадьбы и рожают их спустя долгое время, даже в глубокой старости, как читаем о Массаниссе и Катоне Цензоре. Поэтому ваши рассуждения бессильны скрыть заключенную в этой истории правду, которая гласит, что доброта женщин возносится над злобой мужчин. И тут я спрошу вас: что, если эти две дамы нашли бы таких мужей, каких заслуживали и равных им добродетелью (конечно, при допущении, что это вообще было возможно)?

— Лучше скажите вы мне, — возразил съёр де Ферм-фуа, — что, если эти двое юношей, в награду за их чрезмерную любовь умерщвленные жестокосердыми женами, решили бы не вступать в брак? Так ведь издавна поступали те, кто желал сделать в жизни что-то доброе, а те, кому не хватало для этого ума, убеждались на горьком опыте, сколь сильно мешает жена любому жизненному подвигу, будь то война (как свидетельствуют Дарий и Митридат) или философия (как жалуется Сократ); почему я и уверен, что если бы мужчины не женились, то ничто не мешало бы им достигать полного счастья. Недаром в народе говорят, когда приходит время женить молодого парня: пора надеть на него хомут. Сказать правду, мы воспаряли бы к небесам, если бы этот хомут нас не удерживал. Я довольствуюсь тем, что называю женщину этим прозвищем, хотя знаю, что многие поневоле судят куда строже, называя ее нашим тяжким крестом: именно поэтому некто, услышав от проповедника, что каждый должен нести свой крест, немедленно помчался домой и взгромоздил себе на шею жену. В заключение скажу,

что история Понифра и Германа, погубленных женщинами, заставляет меня вспомнить ответ одного селянина куму:

Случилось как-то селянину,
Когда жену искал он сыну,
От кума услышать упрек:
Мол, поспешает не по чину,
А поглядеть, и вполовину
Ума не нажил паренек.
Так что же? — отвечал добряк, —
Вот, право, выдумал причину:
Коль наживал ума бы всяк,
О свадьбах не было б помину.

На это мадемуазель Мари, смеясь, возразила:

— Вы приводите свидетельства, чересчур отдающие деревней и исходящие от людей, которые не имеют представления о добре и чести.

— Нет уж, — внезапно воскликнул дворянин, — не уклоняйтесь от признания истины: ведь знатым людям еще горше, когда приходится испытывать то же самое; вспомните-ка, что было некогда сказано одному кичливому господину:

Напрасно хвалишься, ей-ей,
Что ты общественная личность:
Все притязанья на публичность
Скорей к лицу жене твоей.

На этом владелица замка прервала спор и, приглашая общество к примирению, предложила возобновить беседу завтра, после чего в веселом расположении духа все отправились ужинать; тут мы их и оставим, пожелав доброго вечера.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

Нет яда опаснее, чем тот, который таит свою горечь под мнимой сладостью, и, точно так же, всего губительнее зло, прикрытое наружной добротой, ибо видимость благожелательства усыпляет нашу бдительность, а когда мы спохватываемся, бывает уже поздно. О, если бы Катилина, Сулла, Юлий Цезарь и им подобные умели прятать свое честолюбие столь же искусно, как Август,

тирания в Риме (называемая монархией) началась бы куда раньше! Но нет! доблестное сердце (где не может жить притворство, поскольку лев не имеет ничего общего с лисом) не позволяло им уподобляться крокодилу, который льет слезы, желая пожрать тех, кто из жалости придет на его плач.

Едва ли не каждому случалось испытать это на себе, и если кому-нибудь такое зло выпадает на долю, он должен находить утешение в том, что у него много друзей по несчастью. Стоит припомнить судьбы некогда процветавших республик, чтобы убедиться: все они погибли от одного и того же внутреннего врага, зовущегося лицемерием, а орудием их сокрушения и разрушения неизменно был обман. Да и Францию это бедствие не обошло стороной: мы знаем, что те, кому наши короли оказывали наибольшие услуги, были заклятыми нашими врагами. В самом деле, история наполнена рассказами о том, как Франция неуклонно исполняла свой долг, защищая пап (Карл Великий восстановил права двух из них, разгромленных королем Ломбардии), — но что в награду за эти благодеяния сделали папы, когда нужно было спасти их мать Францию от разорения и гибели? Разве не они наносили ей самые жестокие раны? Разве были у нее худшие враги, чем эти неблагодарные дети (сколь ни горько мне так говорить, еще горше то, что все это знают)? Утвердив попирающую стопу не только на горле принужденного ими к раболепию императора, но и над всеми христианскими коронами, они открыто враждуют со своими спасителями французами. Тому пример и папа Пий, отдавший королевство Сицилию бастарду Феррану, а герцогство миланское — Франциску, к великому ущербу орлеанского и анжуйского домов, его законных сеньоров; и Бонифаций VII, который своими коварными отлучениями погубил бы французское государство, если бы напал не на могучего духом Филиппа Красивого, а на какого-нибудь Карла Простоватого. Впрочем, достаточно назвать папу Юлия: не довольствуясь духовными орудиями (порицаниями, угрозами, отлучениями и проклятиями), он отложил ключи святого Петра ради меча святого Павла и обрушил на Францию гораздо более мощный удар, пойдя войной на отца народа, доброго короля, который подарил ему Болонью, Чезену, Равенну, Имолу, Фаенцу, Форли и другие прекрасные поме-



ны, но так и не мог унять честолюбие этого ненасытного папы, мечтавшего омыть землю человеческой кровью и зажегшего ненавистью к французам весь христианский мир. Он осадил их в Милане, однако, хотя все государи покорно служили его священному гневу, ничего не добился, ибо ему противостал всевышний бог. Во времена, когда его святейшество сеял смуту, и произошел один весьма памятный случай, о котором я вам расскажу так кратко, как позволит эта удивительно печальная история.

Надо вам знать, прекрасные дамы, что свирепый папа, каждодневно расставлявший сети и приманки, дабы улавливать и привлекать на свою сторону всех государей, какие, по его мнению, могли хоть чем-нибудь вредить французам, нашел средство заключить союз с молодым принцем Умбрии, чье имя я не стану называть, так как мой рассказ не служит к его чести. Этот принц — из почтения ли к папе, или из любви к воинской славе, — воевал столь ревностно, что не было такого сражения, где он не показал бы себя одним из лучших бойцов. И случилось так, что, побывав во многих опаснейших схватках (куда его влекла и стремилась ненависть ко всем французам), он был вынужден после снятия миланской осады отправиться на отдых в Мантую. Там со всеми почестями, подобавшими его роду и сану, был он принят в доме маркизы Гонзага, вдовы знаменитого Франческо Гонзага (последнего, кто носил это имя), оставившего ей, в числе лучших сокровищ, единственную дочь пятнадцати лет, наделенную столь дивной красотой, что Италия по праву могла гордиться, произведя на свет такой цветок. Эта девушка, принадлежа к знатнейшему роду и будучи предметом исключительного попечения родителей, с младых лет воспитывалась в добродетели и была весьма тщательно образованна, так что при сравнении красот и совершенств, которыми ее щедро одарило небо, с остротой ума и благородными знаниями, которые она стяжала ученьем, трудно было решить, чему она обязана более: науке или природе; однако нельзя было усомниться, что ей нет равных в Италии. И если папа подчинил и поставил на службу множество людей благодаря своей власти и деньгам, то она пленила не меньшее число сердец прекрасным взором, нанимая и оплачивая свое войско одной надеждой на возможную ее благосклон-

ность, — и мало было таких, которые ради этой надежды не согласились бы умереть, доказывая силу своего чувства.

Неложный свидетель мне в этом наш принц, которого мы будем называть Адилоном: только что сражавшийся за папу, во мгновение ока перешел он в стан божества, превосходившего папу могуществом. О, ему хорошо было известно, чего стоит удар пики, но не знал он, насколько опаснее внезапно брошенный взор. С честью выходил он из самых гибельных переделок, а теперь был сражен, увидев единственный раз эту красоту; уж лучше бы ему родиться слепым, чем терпеть такой урон от собственных глаз. Увы! это зрелище произвело в нем столь неизъяснимую перемену, что он не мог узнать самого себя. Но так же, как молодой лев (полный веры в свою кипящую силу и готовый схватиться с кем угодно), ощутив первый удар, собирает всю ярость и с сугубой отвагой борется за победу, этот новобранец Амура вознамерился отразить приступ, которому его собственные чувства открыли путь, начав распрю, словно мятежные горожане, восстающие друг на друга. И все более уверяясь, что нужно сопротивляться этому нападению, он в одно время и наносил себе рану, и врачевал ее.

— Пока этот новый недуг еще не прижился внутри, — сказал он себе, — я должен изо всех сил гнать его вон; ведь самое действенное лекарство — это своевременное предупреждение болезни. Проще погасить едва затеплившийся огонь, нежели тот, что уже пылает во всю мочь.

Легко сказать, да трудно сделать! Недаром те, кто пылко хвалит добродетель, бывают холодны, когда нужно следовать и повиноваться ее велениям. Мы видим, что бедный влюбленный лишь дает себе добрые советы, но вовсе не думает ими пользоваться и, ловя себя на обмане, не краснеет от внезапного угрызения совести. Крепость сдана врагу. Он хочет стряхнуть непонятное безумие, но тщетно: как спотыкающийся и оступающийся олень со стрелой в боку приближается к смерти тем вернее, чем быстрее он от нее бежит, ломаясь сквозь густые ветви и вгоняя острие все глубже в свое тело, и как попавшая в сеть птица запутывается тем больше, чем отчаянней бьется, стараясь вырваться, — так этот злосчастный государь (новый слуга и раб Аму-

ра), сиюсь укротить неотвязную хворь, лишь бередит и растравляет свою рану. И в конце концов он чувствует себя настолько покоренным ласковым приемом, что душа его, покинув прежнее жилище, устремляется по назначению фурьера любви к лику прекрасной Кларинды (ибо так звалась эта мантуанская инфанта).

Ах! если один вид этого совершенства, как слишком яркое сияние, помрачил очи его рассудка, что же, спрошу я вас, случилось бы с ним, когда бы он изведаль очарование ее любезной речи, или, познакомясь с ней ближе, постиг мудрость и кротость ее нрава, узнал на опыте, сколь необыкновенна ученость, обогатившая ее тонкий ум и изливающаяся из медоточивых ее уст, дабы напоить слух мудрейших людей; ибо в знаниях, как я уже сказал, ей не было равных по ту сторону гор, кроме, быть может, Кассандры, дочери сеньора Анжело Фидели, венецианца, которая выступала с публичными чтениями о семи свободных искусствах и была сведуща в обоих древних языках и в богословии.

Но молодой принц после недолгого созерцания инфанты удалился, не помня себя, домой, где, впрочем, не обрел желанного успокоения, потому что вновь подвергся нападению врага. Если страсть, зажженная в нем лицезрением сладчайшей гибели, была мучительна, то отсутствие красавицы, чей образ живо напечатлелся в глубине его сердца, было стократ тягостнее: так рана в минуты покоя причиняет больше страданий, чем в пылу битвы. И когда он, рассеянно блуждающий в дебрях раздумий, лег (прикоснувшись к ужину разве что для отвода глаз) в свою постель, чтобы прийти в себя и отдохнуть от терзаний, все пошло наперекор его надеждам: мягкий пух изголовья стал твердой наковальней, на которой ковался один безумный помысел за другим, и все эти помыслы, едва он успевал их обдумать, таяли и исчезали в воздухе вместе с бурей вздохов, раздувавшей горн его больного воображения. И чем усерднее тщился он разорвать любовные путы, тем туже затягивал на себе отнявший у него свободу силок. Так возрастает напор воды, если перегородить течение запрудой.

— Увы! — восклицал он, — на какие бедствия обрекла меня жестокая судьба! Неужели я счастливо уцелел в превратностях войны и невредимым вышел из грозных сражений только для того, чтобы так пострадать от

женского пола, который никому не страшен? О, почему не могу я дать нежным девушкам такой же отпор, какой давал суровым рыцарям? Почему небеса заставили меня покориться столь слабой силе? Если уж дали они женским очам оружие для нападения, то почему не укрепили мою грудь защитным доспехом? Какой же удачей для меня было бы пасть вместе с цветом Италии от руки неприятеля! Или я спасся лишь затем, чтобы, влача тяжкие узы, зачахнуть от тоски здесь и, подобно Ахиллу среди дочерей Ликомеда, бесславно кончить молодость, истаяв как снег под лучами этой красоты? Ах, для моего блага и спокойствия вовек нельзя мне было ее видеть; если же видеть ее мне было суждено, вовек нельзя мне терять ее из вида. О доблестные рыцари Франции, отвагой своей повергающие в трепет вселенную! не завидуйте отныне превосходству принца Адилона и знайте: по милости мантуанской принцессы, отнявшей у меня покой и возвратившей его вам, я более не могу чинить вам вред, — хотя она не убила меня и не нанесла мне увечья, но лишь взяла в плен и заточила в крепкую темницу. И пусть мой пример покажет всем, как плохо награждается подчас учтивость: ибо может ли ожидать большей неблагодарности, чем столь дурное обращение, тот, кто приходит как гость, желая изъяснить почтение и уважение даме? Видно, бог решил погубить несчастную Италию, в одно время велел родиться кровожадному первосвященнику, губящему тела, и несравненной красавице, губящей души.

Так, все более воспламеняясь, безутешный принц провел в слезах и воздыханиях целую ночь: то решал он отдаться своему чувству, говоря себе, что даром ничего не дается и что дело стоит труда; то думал, что лучше ему все бросить и понапрасну не мучиться из-за столь сомнительного предприятия, ибо неоткуда ему почерпать не только уверенность, но и самое безумное упование. Если вы видели когда-нибудь, как путник, пришедший к скрещенью двух дорог, вдруг останавливается и не может сделать выбор (обе его влекут и обе внушают опасения), то поймете, как страдал несчастный влюбленный. Наконец, после долгих раздумий и колебаний между надеждой и страхом, так и не сомкнув глаз, принц вскакивает с постели и одевается с ног до головы. Затем, решив раз и навсегда покончить с новым чувством и убежать от любви так далеко, что она не

сможет его настигнуть, садится он в седло и направляется прямо в Пьяченцу, где в то время находился папа, стягивавший к этому городу войска. При этом полагается он на своих слуг и коня: ведь когда человек не в себе и сам себя не слушается, трудно ему повелевать и управлять другими. И хотя он уезжает, душа его, покинув немилое ей обиталище, остается в мантуанском гарнизоне, — в то время как брошенное ею тело, словно статуя, движется единственно оттого, что его гонит ветер, и уже не одушевлено ничем, кроме снедающей сердце тоски.

Прибыв в Пьяченцу, принц отправился свидетельствовать почтение святому отцу, которого и нашел в его покоях, где тот обдумывал новые козни против французов. После обычных лобызаний Юлий спросил:

— Ну, дитя мое, где вы так долго прятались, не давая никакой вести о себе? Поверьте, я был весьма испуган мыслью, что потерял вас, и ни о чем ином не мог говорить; но теперь, когда вы вновь с нами, у меня отлегло от сердца.

Принц, знавший, как он дорог папе, рассыпался в извинениях, из почтительности скрывая, что произошло. Но поскольку нетрудно было прочесть на его лице, что он измучен страстью, и увидеть, что некий тайный червь подточил его обычную веселость, один дворянин, которого принц предпочитал остальным и лучше знал, стал так настойчиво его расспрашивать, что ему пришлось, несмотря на крайнее нежелание и досаду, рассказать о случившемся.

— Мой друг Люцидан (так звали этого дворянина), — сказал принц, — благодарю за беспокойство, внушившее тебе мысль, что меня томит какая-то болезнь, порожденная избытком чувств. Твоя догадка и в самом деле не далека от истины: мне нанесли столь жестокую рану (и как раз в том месте, где я искал покоя и безопасности), что я не жду иного исцеления, нежели медленная смерть. Да будет тебе ведомо, что после того как неприятель вынудил нас снять осаду с Милана, я отправился в Мантую, намереваясь отдохнуть: там-то зажглось во мне пламя, внезапно разгоревшееся с такой силой, что угасить его не могла бы и вся вода морская. Но я прошу хранить это в секрете, памятуя мое доброе о вас мнение, которое и побуждает меня ничего от вас не таить.

И, открыв свое сердце, принц подробно рассказал о том, как он был сражен и покорен ласковым приемом принцессы Кларинды, и о том, каких немислимых пределов достигли ныне его мучения.

— Однако, господин мой, — сказал Люцидан, — если судьба сулит вам такое счастье, в чем повод для сетований на нее? Почему вы так криво рассудили свое правое дело и сами себе вынесли обвинение и приговор? Почему ожидаете встретить суровость и немилость там, где нашли одну нежность и учтивость? И почему, не имея никакой причины для разочарования, вы не верите в свои силы и достоинства, которые всегда будут оценены благородным сердцем? Смелее же — и, ручаясь, вы вскоре будете наслаждаться тем, к чему вполне справедливо стремитесь, или весь мой опыт и искушенность ничего не стоят: поверьте уж вашему испытанному другу и преданному слуге. Единственное, о чем я вас прошу (поскольку возраст доставил мне некоторые знания, вы же при всем вашем уме ослеплены теперь любовью), — послушаться моего совета. Паче всего должны вы стараться (если хотите идти самым коротким и верным путем) снискать милость матери, ревностно и со всевозможным тщанием ей угождая; ибо как только вы заручитесь ее добрым мнением, можете считать благосклонность дочери вашей. Разъясню, в чем здесь дело: девушка подобна белой стене, на которой можно чертить все, что вздумается; если же по начертанному провести рукой, все сотрется. Сейчас она любит, мгновение спустя забывает о своей любви. Цветы умирают каждый год, и каждый год возрождаются, а девичья любовь рождается и умирает каждый день; в ней нет ничего постоянного, кроме одного неизблемого закона: последующий всегда вытесняет предыдущего, как волна гонит другую волну, — настолько мила ветреницам любая перемена. Иначе говоря, девушки вообще не испытывают любви, ибо слишком черствы душой для столь нежной гостьи; безвольно влекутся они то к одному, то к другому, всякий раз принимая такой вид, какой сочтут для себя удобным хотя бы их сердце и восставало против этого, — и узнают, что такое склонность или предпочтение, лишь тогда, когда матери связывают их привычными узами брака. Да вы и сами, должно быть, замечали, что в выборе жениха девушки всецело полагаются на волю

родителей, не осмеливаясь вымолвить «я люблю» прежде, чем свяжут их брачные узы. Так садовые мухи равнодушно перелетают с цветка на цветок, наслаждаясь разнообразием и повинуюсь своей изменчивой прихоти, однако остаются на одном не более, чем на другом, чтобы успеть вкусить от всех, и мечутся там и тут, пока не остановит их паучья сеть. Итак, следуйте моему наставлению и твердо помните: если вы добьетесь любви и уважения матери, дочь будет ваша. Недаром пословица гласит: «Когда берут город, сдается и замок».

Эта дружеская речь, внимательно выслушанная и принятая к сведению юным принцем, пролила бальзам на его сердечные раны и заживила их так хорошо, что, я думаю, и утешение исповедника едва ли когда-нибудь приносило столько радости отчаявшемуся грешнику.

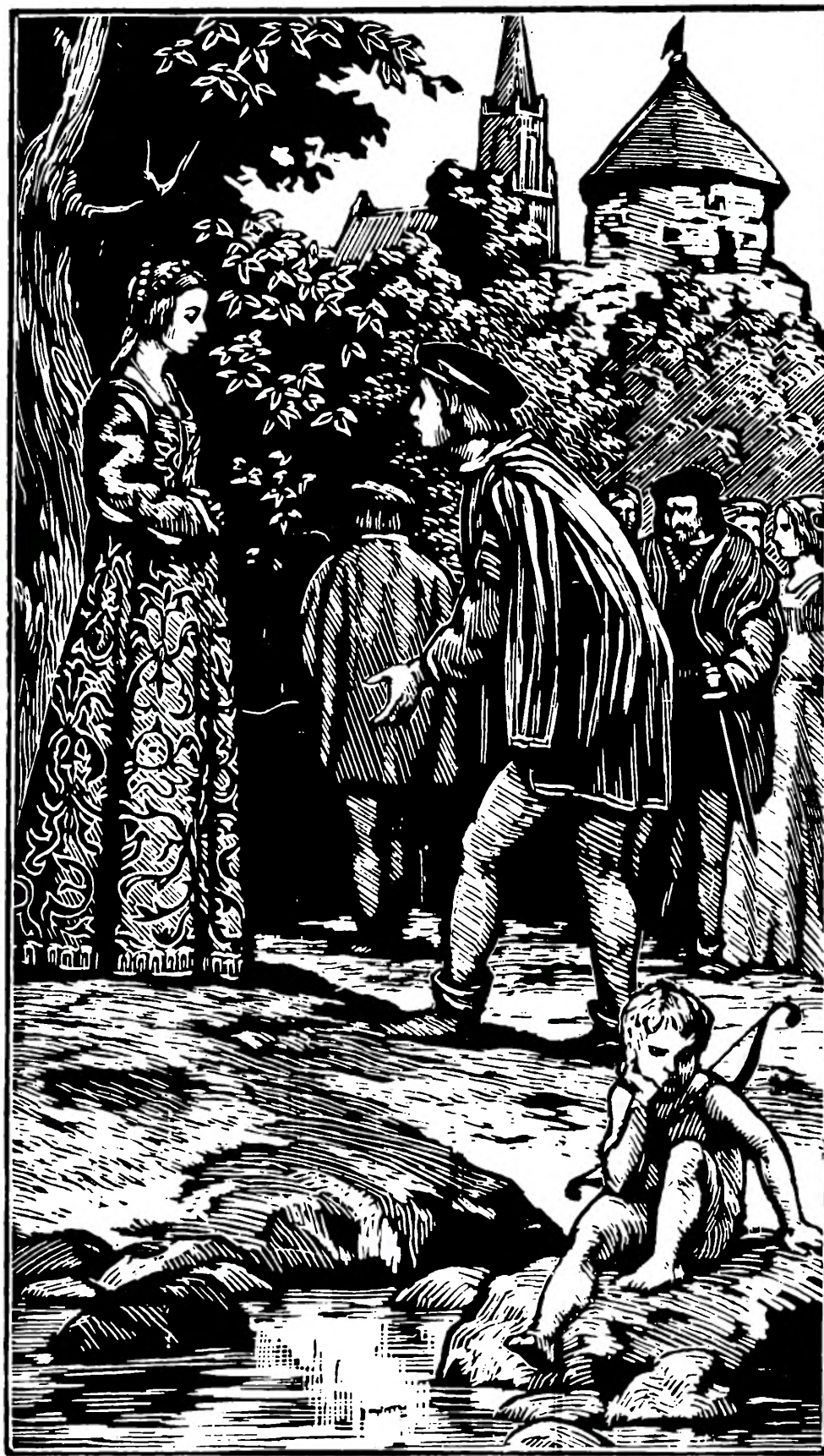
А между тем как принц наслаждался действием этого целительного бальзама, было получено известие, что французы, ободренные удачным отражением миланской осады, используют свой успех и наступают, разоряя и опустошая земли Церкви. По этой причине папа немедленно приказал Цезарю Борджиа, под началом которого были все войска Умбрии и Апулии, выступить вместе с венецианцами и испанцами навстречу, чтобы соединенной мощью дать отпор дерзкому врагу. И, сойдясь близ небольшого города Луго, две армии ринулись в бой с такой яростью, что в первой же атаке были уничтожены лучшие силы Юлия и венецианцев. Потери же французов оказались невелики. Однако они не хотели довольствоваться своей победой и первенством в ратном деле и решили истребить всех врагов без остатка, ибо сражались не только ради чести, но ради свободы и жизни. И потому их главнокомандующий, племянник короля Гастон де Фуа, герцог Немурский (государь, с которым никто не мог сравниться отвагой), подстрекаемый желанием славы и кипучей юностью, пустился в погоню за оставшимися в живых и преследовал их с таким рвением, что удача, излишне подгоняемая и понукаемая, изменила ему, подобно тому, как лошадь, когда ее прищипоривают сверх меры, начинает вдруг брыкаться и сбрасывает седока. Поистине мудр был военачальник, говоривший, что довести врага до отчаяния значит дать ему оружие для обороны и что

гораздо разумнее оставлять ему путь к бегству. Ибо закон необходимости, по словам божественного Платона, настолько суров, что ему не могут противиться и боги; ученик же Платона называет необходимость матерью мнимых добродетелей и, более того, мнимых чудес. В самом деле, известно, что немой от рождения сын Креза, видя во время взятия Суз, как воин изготовился убить его отца, громко закричал: «Спасай корону!» — такова была сила естественной любви, восполнившей природный изъян необходимым чудом. Потому-то великому воителю герцогу Немурскому следовало использовать свою славную победу под Равенной более рассудительно, не доводить бегущего неприятеля до крайности и не принуждать его к сопротивлению, вспомнив, как незадолго перед тем сами французы (теснимые лигой, что выступила против Карла Восьмого) победоносным оружием проложили себе дорогу из окружения, которую враг всеми силами старался закрыть. На сей раз итальянцы отплатили им, как говорится, той же монетой: обращенные после страшного разгрома в бегство, они, видя, что французы, несмотря ни на что, гонятся за ними и преследуют их по пятам, собрали силы и с отчаянной отвагой перешли от отступления к нападению, столь яростно поражая наиболее горячих преследователей, что убили герцога Немурского (одного из самых рьяных), сеньора де Монкароэля, д'Алегра-отца и других знатных рыцарей; молодой же сеньор д'Алегр отделался дешево: получив ранение в руку, лишившее его возможности защищаться, он был взят в плен мессером Фердинандо Гонзага, и тот немедленно увел его с поля боя. И разумно поступил — ибо французы, которые на свою беду, занялись обшариванием мертвецов (наслаждаясь плодами верной победы и не спеша следовать за своим добрым герцогом), услышали шум пальбы, и, догадавшись, что неприятель перешел в наступление, примчались большим числом на помощь; но чересчур поздно, поскольку герцог Немурский, как мною сказано, был уже мертв. Потому, не видя возможности помочь ему чем-нибудь иным (словно врач, пришедший после смерти больного), они обратили свою скорбь и печаль в суровое мщение врагу. И, не щадя никого, учинили бесчеловечную резню; а когда узнали, что некоторые из бежавших спаслись в ближайшем городе Равенне, то с неукротимым бешенством пошли на приступ этого горо-

да, ворвались в него и, забыв всякую жалость и снисхождение, напечатлели в нем жестокие знаки своего праведного гнева.

После того как ими были дотла разрушены лучшие итальянские города (особенно в Ломбардии), папа, желая изгнать врага из своей земли, восстановил против них англичан, которые высадились в Кале и осадили Тербуан. Тогда Франция, вынужденная защищаться от этого нападения, прекратила наступление в Италии. Властители, пользуясь затишьем и возможностью перевести дух, начали переговоры о выкупе и обмене пленных, и было решено, что молодого сеньора д'Алегра обменяют на маркиза Пескерского.

Д'Алегр же, избавленный от смерти мессером Гонзага (о чем я уже рассказывал), был увезен этим сеньором в его укрепленный замок, что находился в двух, или около того, милях от Мантуи. Там ему оказывали высокий почет, как требовало его положение среди французов и знатное происхождение, которое не было для итальянцев тайной. И в один из погожих дней страж д'Алегра, желая вполне соблюсти долг вежливости, повез его на охоту в ближайший лес, где они вдвоем погнались за вышедшим из своего логовища оленем, да так увлеклись, что незаметно для себя растеряли всех своих людей, думая только о том, кто первый настигнет и убьет зверя. И они были весьма удивлены, когда, плутая в лесу, оказались недалеко от красивого, прелестного источника, так хорошо укрытого ветвями деревьев, что к нему не мог проникнуть ни один солнечный луч. В этом приятном месте как раз отдыхало несколько дам, наслаждавшихся прохладой, которую дарила древесная тень. Как только наши охотники заметили это милое общество, сеньор Гонзага, на расстоянии узнавший свою сестру маркизу и сопровождавшую ее дочь, сказал об этом пленнику, и оба они, обрадованные, прищипорили коней. Подъехав и спешившись, они приблизились к маркизе и свидетельствовали ей свое почтение. Здесь же обнаружили они принца Адиллона: получив отдых только от ратных, но не от любовных трудов, он приехал, чтобы применить к делу добрые советы Люцидана, и увивался вокруг матери с таким рвением, что дочь видела в его тонкой затее одну лишь глупость, которую объясняла ребяческой или деревенской застенчивостью, и, глубоко обиженная его



неуважением, обходилась с ним насмешливо и презрительно.

Воздав маркизе все должные почести, сеньор д'Алегр стал оглядываться по сторонам, но внезапно был лишен всякой свободы действий, ибо его блуждающий взор приковала к себе красота юной принцессы. Сразу догадавшись, что общество, увлеченное беседой, забыло о ней и оставило ее без внимания, он поступил по обычаю французов: немедленно, как велел ему долг, подошел ближе и обратился к ней со столь изысканной речью, что принцесса искренне обрадовалась своевременному его появлению, вознаградившему ее за неучитливость Адилона. И хотя благородная осанка и отменные манеры д'Алегра, говорившие о знатном происхождении и хорошем воспитании, равно как его платье и уважение, которое оказывал ему сеньор Гонзага, отличали его перед всем обществом (находившим довольно странной ту поспешность, с какою он, нарушив местные обычаи и, паче того, рассердив ревнивого принца, подошел к инфанте), — все же очарование его прекрасной юности внушало приязнь каждому и настолько пленяло любое сердце, что зависть волей-неволей должна была склонять голову.

Весьма весело проведя эту часть дня, маркиза стала просить брата и сеньора д'Алегра ехать в Мантую вместе с ней. Те охотно согласились, движимые разными чувствами: мессеру Гонзага хотелось, чтобы пленнику было о чем рассказать во Франции, а д'Алегру — продолжить успешно начатую беседу. И когда они пустились в путь, Амур, не покидавший очей прекрасной Кларинды, ранил нежное сердце ее нового подданного так глубоко, что исцелила эту рану только смерть, о чем вам и предстоит узнать. Но хотя бедный влюбленный имел множество собратьев по несчастью (ибо сраженным любовью к этой красавице не было числа), он обрел право утешить себя тем, что никто не разделил его славы: только ему, самому счастливому и удачливому, довелось нанести ей ответный удар.

И если удар, потрясший грудь рыцаря, был сокрушителен и опасен, то не осталась невредимой и юная принцесса: обходительность нежданно встреченного ею д'Алегра поразила ее столь глубоко, что она поневоле начала понимать, что такое любовь. Внимательно отмечая про себя несметные достоинства и доблести этого

французского дворянина и тайно их сравнивая, она не знала, чем больше восхищаться, — однако ясно видела, что нельзя помыслить более высокую степень человеческого совершенства. И, не имея сил утаить благосклонность, выражавшуюся на ее лице (которое, к счастью д'Алегра, не было закрыто), она, хотя не сказала и слова, внушила ему смелость поведать ей о начинающемся недуге, чтобы исцелить его скорым врачеванием. Тогда, влекомый надеждой на снисхождение, которое сулила ему эта нежная красота (причина его мук и вместе с тем единственный источник возможного избавления от них), он, ободряясь красноречивым ее взором, придававшим ему некоторую уверенность, расторг узы, коими связала его язык робость, враждебная всякому успеху, и, глубоко вздохнув, сказал:

— Ах, сударыня, где мне найти слова, чтобы должным образом возжаловаться на мою жестокую судьбу! Мало ей было разлучить меня со всеми родственниками и друзьями, не оставив никакой возможности узнать, чем кончилась для них грозная битва, в которой едва ли могли они спастись (ведь там пали все лучшие бойцы); мало и того, что сам я, раненный, был увезен на чужбину человеком, искавшим моей гибели: сегодня, решив добить несчастного, она лишила меня последней надежды на счастливое освобождение, которое могло бы возместить мои утраты. Ибо вот уже несколько часов, как она без всякой жалости отдала меня в рабство вашей блистательной красоте, и, до сих пор быв пленником лишь телесно, я отныне пленен не только телом, но и душой, причем плен этот так крепок, что я уже не жду избавления и готов довольствоваться той свободой, какую ваше нежное сердце почтет за благо мне всемилостивейше даровать. Я настолько зачарован вами (простите мою откровенность), что, как человек, которого перед отсечением больного члена усыпили мандрагорой, вовсе не ощущаю страданий; напротив, в бедствии моем нахожу я высшую отраду, и мне кажется, в этом мире нет более высокого наслаждения, чем моя мука, нет свободы восхитительнее, чем суровое заточение под надзором моей прекрасной стражницы, и нет в жизни удовольствия, сравнимого с тем счастьем и блаженством, какие провижу я в гибели, уготованной мне любовным служением.

С этими словами он устремил на принцессу столь

жалобный взор, что, утратив дар речи, она не могла молвить и слова, как те, у кого от неожиданности перехватывает дух. И, не имея сил отвечать, пылкая инфанта нежно сжала его руку, вполне ясно выразив этим немым языком, каким смятением объята ее душа. Тогда влюбленный, снискавший первую милость, ощутил в боках шпоры и, переведя воспаленное страстью дыхание, продолжил свою речь:

— О боже, сколь диковинный случай — и неожиданный, и благоприятный — привел охотника (кому предуказано ловить) в такое место, где он сам был пойман прекрасными сетями, расставленными могущественной охотницей, которая своей божественной властью заставила меня уподобиться несчастному Актеону, — с тем различием, что Актеон, увидевший Диану нагой, был превращен, а я, хотя увидел вас одетой, — порабощен. И поэтому я думаю, что узревший вас без одежд стал бы недвижимым камнем, как те, кто смотрел на Медузу. Право, я никогда не верил прежде, что возле источников можно и в самом деле встретить нимф и дриад, и не мог предполагать, что такая встреча грозит бедою. О сеньор Балеас, не бойтесь отныне, что я выскользну из-под надзора и убегу на родину: красота вашей племянницы надежно приковала меня к этим местам, и я не нуждаюсь в ином стороже, нежели ее взор. Некогда греки, отведавшие на чужом острове лотоса, пристрастились к этому яству и утратили желание возвратиться домой; точно так же и я, вкусив сладких чар, струящихся из ее прекрасных очей, предпочту смерть разлуке с нею. Вот как дорого заставляете вы меня платить за ваши благодеяния, ужесточив условия моего освобождения вопреки военному закону, да и собственному вашему слову, которое были обязаны держать. Ведь от вас я мог уйти, отдав какой-то денежный выкуп, а из этого плена (молвил он, глядя на принцессу) я буду вызволен и спасен только ценою жизни. Ах, сударыня, могло ли меня, несчастного, постигнуть более страшное бедствие? Не испытываете ли вы ко мне хоть небольшую жалость и сострадание? В вашей власти утешить меня, и я умоляю вас сделать это как можно скорее, если вы хотите сохранить жизнь верному рабу, которым, напав из засады, завладели ныне, словно птицелов птичкой, погубленной неprovорными крыльями.

На это прекрасная инфанта отвечала с ласковой улыбкой:

— Но, монсеньор, я не понимаю, почему, попав из-за превратностей войны (где ничего не случается только с трусами да подлецами) в плен к моему дяде, вы так сетуете на судьбу: в лучших руках вы не могли очутиться. Неудача эта, мне думается, лишь умножает вашу славу, потому что вас, как и других отважнейших и доблестных французских воинов, взял в плен тот, кто лучше всех в Италии владеет оружием. И еще более непонятны мне ваши жалобы на меня, ибо я отнюдь не намереваюсь давать к этому повод; напротив, я возблагодарила бы судьбу, если бы она позволила мне показать вам мою благосклонность, которую вы сможете оценить при удобной возможности; я же буду искать такую возможность всю мою жизнь, и когда бы она ни представилась, не сочту, что это случилось слишком рано. Ибо ваша удивительная любезность, которую я смогла узнать и в это краткое время, властна преодолевать злонамеренность самых бесчеловечных людей и покорять самые варварские сердца; так что не знаю, какой епитимьей или, лучше, какой казнью я покарала бы (будь я судьей) того, кто осмелился бы причинить вам даже малое огорчение, — если, конечно, сыскался бы в мире такой изверг.

— О, сударыня, — отвечал рыцарь, — пристало ли вам так обходиться с гостями, потчует их насмешками вместо утешения? Но все-таки, как бы вы, пользуясь своей властью, меня ни вышучивали, могу заверить, что хотя природа скупой наделила меня достоинствами и расщедрилась только на чувства, нужные тому, кто милостью небесной мог бы снискать блаженство называться вашим рабом и получить ваше согласие на это, — все мои ничтожные силы я посвящаю вам и употребляю к вашим услугам. И это решение так твердо, что все бедствия века и мои собственные несчастья не могут его поколебать. А что до того, по какой причине я на вас жалуюсь, то знайте, дело вовсе не в том, что, внезапно вас увидев, я навеки попал в плен (который от рождения был уготован моим лучшим чувствам): большей удачи, сразу наградившей меня за все жизненные невзгоды, мне не приходилось ждать. Нет, сударыня, я жалуюсь лишь оттого, что судьба привела меня в такое место, где все достоинства любого из смертных тщетны

и ничего не стоят. И все же, поскольку чистому сердцу не возбраняются добрые надежды и Амур не оставляет без платы исправную службу, я осмеливаюсь прочить счастье, которого не достоин никто, себе: ибо если природа была рада показать свое искусство, создав ко всеобщему восхищению столь совершенную красоту, как ваша, то в моем лице она пожелала создать для вас слугу, чья преданность не знает равных; и смею уверить — простите мне эту небольшую обиду, — что она собрала и вместила в вас не больше чар, нежели вложила в мою душу чувств, посвященных ревностному служению вам. Вот почему, помня, что верные труды всегда вознаграждаются по справедливости и что за искреннюю любовь воздают любовь, я вправе утолять сердечный голод надеждой на вашу доброту и снисхождение.

Слушая его, Кларинда чувствовала, как сражаются в ней любовь и стыд, и бедное ее сердце, жестоко страдая, не знало, чему покориться, а язык, ждавший исхода этой схватки, цепенел, тяготя уста бесполезным бременем, — пока наконец яростно осаждаемые твердыни души не сдались на милость победительницы-любви, которая, употребив свою власть, пустила на волю речь, томившуюся в плену у стыда, и эта еще объятая трепетом речь, вырвавшаяся из девических уст, была такой:

— Но отчего, друг мой, вы не надеетесь на счастье, в коем видите венец ваших пылких желаний? Ужели вы не верите в мою любовь и сейчас, слыша мое невольное признание? Или мало для вас славы в том, что вы ведете меня в своем триумфальном шествии благодаря победе, которой обязаны Амуру, одолевшему оружием ваших чар мои непокорные чувства? Однако да будет вам известно заранее (поскольку вы, французы, слывете легкомысленными и ветреными, и, как говорят, любите тщеславиться и похваляться в ущерб женской чести, хотя она должна быть неотторжима от вашей собственной), что если теперь (вспомните о моих словах, прежде чем так поступить) вы покажете себя французом, то во мне найдете лукавую итальянку, которая мазнет вас по губам и оставит ни с чем. Потому-то, мой друг, прошу я вас блюсти верность и тайну, ибо это единственный венец, прославляющий истинную любовь и возносящий ее над завистью. А чтобы помнить о сказанном, носите в

знак моей любви этот перстень. В него вделана аметистовая камея, изображающая Купидона в прелестном венце: бог сомкнул ладони, а один палец прижал к устам. Внутри же перстня начертан девиз: верность и тайна.

Мне незачем уверять вас, что счастливый влюбленный принял этот прекрасный дар: можете не сомневаться, что он не отверг бы его и в том случае, если бы перстень был из раскаленного железа. Со всей учтивостью — и руками, и взором, и словами — он воздал благодарность своей очаровательной возлюбленной и хотел продолжить речь, как вдруг из городских ворот высыпала толпа знатных юношей, столь многочисленная, что, казалось, весь город спешит навстречу. Они приблизились к маркизе и, прерывая тайную беседу наших влюбленных, смешались в одно мгновение с обществом дам, которых и сопровождали до самого дворца государыни. По прибытии туда нашли они столы накрытыми для ужина. Но все изысканные кушанья, украшавшие это пышное и великолепное пиршество, не могли насытить душевный голод Кларинды и д'Алегра! И, видя, что возможность продолжать их пламенную беседу утрачена, они в течение всего вечера не вкушали ничего, кроме сладостных сердцу взоров, которые непрестанно скрещивались над столом, выходя из этих схваток и победителями, и побежденными.

О, любовь, непостижима твоя природа! Самое лакомое и вкусное яство для тебя — мука и тоска, и чем больше ты поглощаешь его, тем меньше насыщаешься. Увы! даже кровожадная пиявка отпадает в конце концов от места укуса, умерщвленная собственной пищей, — ты же, алчная, пожираешь неуничтожимое сердце твоих рабов большими кусками, но всегда голодна, словно орел, грызший печень несчастного осужденного.

И пример пылких влюбленных вполне это подтверждал: подобно тому как два кремня истираются от высечения таящегося в них огня, оба они изнемогали, воспламеняя друг друга жгучими взорами. И это пламя было столь неукротимо, что его ощущали не только они, но и (поскольку огонь выдает себя жаром и блеском, и утаить его невозможно) наиболее приметливые из гостей, в особенности клейменный той же печатью принц Адилон, который не знал, как унять свои ревни-

вые мысли, что, впрочем, не мешало ему глядеть в оба глаза. И ему не пришлось долго стоять на сторо́же, всматриваясь в лицо Кларинды, чтобы понять: она уже сдалась его врагу, и тот, исподволь сделав подкоп, перебил ему дорогу и оттолкнул его от берега ее благосклонности, возле которого, казалось, встал он на якорь так прочно, что никакие ветры не должны его даже поколебать. Что было ему делать? То старался он привлечь внимание возлюбленной жалобным взглядом, укорившим ее в легкомысленном небрежении более старым искательством, то свирепю, как василиск, смотрел на соперника, силясь умертвить его любовь, но и здесь и там глаза его нисколько не преуспели, — разве лишь увидел он то, чего лучше бы ему не видеть, и ощутил столь живые угрызения сердечного червя, что не мог сохранить даже наружное спокойствие. Это не укрылось от Люцидана, который стал смеяться над его пустым подозрением, сказав:

— Хотя Амур не мог бы парить на своих крыльях, если бы их не поддерживали боязнь и ревность, нельзя все же этой боязни быть слепой, как он сам: иначе влюбленный будет страдать понапрасну и уподобится страусу, который щиплет себя, чтобы заставить себя же бежать. Мне кажется крайне неразумным так дуться из-за какого-то взгляда, поскольку нет ничего диковинного в том, что люди, встретившиеся в первый раз, обмениваются взглядами и внимательно друг друга рассматривают, стараясь ничего не упустить, — особенно если это люди из разных стран, встречающиеся не так уж часто. И это единственная причина, по которой принцесса, движимая женским любопытством, не отрывает глаз от француза.

Взвесив мысленно эти доводы, принц несколько успокоился душой, — но со всем тем он не мог не испытать крайнего раздражения, когда у сеньора Гонзага из-за перемены погоды начался приступ подагры, и это обстоятельство задержало съёра д'Алегра в доме маркизы. Сам же молодой Адилон был в этом доме желанным гостем, которого (я думаю, к его удовольствию) принимали словно родного сына, так что он привык бывать там запросто. И однажды случилось вот что: неслышно переходя из покоя в покой, принц увидел в одном из них уединившуюся инфанту, которая причесывала распущенные волосы, сидя у окна. Едва

лишь он ее заметил, тотчас же, влекомый нескромной игривостью и любовным безрассудством, подбежал к ней и двумя ладонями сжал ей сзади голову, как это обычно делают, когда в шутку хотят загадать, кто пришел. Принцесса от неожиданности вздрогнула, но затем опомнилась и, засмеявшись, сказала:

— Боже мой, неужели учтивость, которая свойственна вам, французам, в обхождении с дамами, велит нападать на них сзади, монсеньор д'Алегр? Вы меня, однако, крайне напугали; вовеки бы я не подумала, что вы настолько дерзки и можете подобным образом наброситься на девушку, когда она сидит в своей комнате одна.

Представляю вам судить, как был поражен этими словами принц и какой нос вырос у него из-за его пустого любопытства: нетрудно, впрочем, предположить, что он пожелал унести далеко-далеко оттуда, где находился, и думал лишь о том, как ему выбраться наружу, ибо понимал, что если принцесса его увидит, ее позор отнюдь не принесет ему пользы. В этом же убеждало его доказательство от противоположного: история Гигеса и Кандавла. Потому он вконец растерялся и, не находя иного способа спасти свою честь, продолжал удерживать принцессу, которая вновь принялась его укорять, сказав:

— Ну же, довольно притворяться, маска ни к чему, если скрывающийся под ней узнан. Пустите меня, друг мой, я совсем не та, от кого вам нужно прятаться.

Этот новый удар был невыносим для принца, получившего несомненное доказательство близости, которой он более всего опасался. И его взяла такая досада, что, отыскав глазами дверь, в какую вошел, он бросился к ней, понимая, что мешкать нельзя, и стремительно скрылся, спасаясь от срама, которым грозило ему разоблачение. Но если он бежал в весьма расстроенных чувствах, то не меньше огорчилась принцесса, которая, хотя и не замедлила повернуть голову, чтобы видеть убежавшего, все же не смогла его разглядеть сквозь густую вуаль золотых волос, падавших ей на лицо. И она была несказанно опечалена тем, что говорила так откровенно и неосторожно. Удручало ее и то, что не удалось узнать дерзкого шутника, и она начала строить различные догадки, уверяясь все тверже, что им не мог быть ее д'Алегр; но больше всего ее тяготило подозре-

ние, что это был Адилон, которого она ненавидела еще сильнее, чем тот ее любил. По этой причине и спустя долгое время не могли они смотреть друг на друга без стыда, притом что никогда не говорили о случившемся ни между собой, ни с кем другим. Принц же решил быть с сеньором д'Алегром более ласковым, чем прежде, тайно лелея в своей черной душе замысел жестокой мести.

О несправедная любовь, сколько ты знаешь способов тиранить людские сердца! Одних сжигаешь ты слепой страстью, других — безрассудной ревностью, а тех, с кем хочешь обойтись наиболее сурово, истязает унылым отчаянием, вынуждая их находить отраду и прибежище в кровавом мщении. Так, к великому несчастью, случилось и с этим обиженным влюбленным: видя, что его (занявшего место первым) опередил рыцарь из Франции, не по праву, как ему мнилось, пожиная чужую ниву, он, словно влекомая бешеными лошадьми колесница, отдался неистовой злобе, которую не могло унять ничто, кроме гибели человека, никогда не делавшего ему дурного. Подчинившись власти этих жестоких помыслов, принц употребил все силы на разыскание наилучшего средства к утолению своей ярости, надеясь впоследствии, когда он избавится от удачливого соперника, более легко добиться благосклонности возлюбленной, так как со спросом упадет и цена. Но он понимал, что придумать хороший способ непросто, а воспользоваться им еще сложнее. Затеять пустую ссору и напасть с оружием на человека, который, как ему было ведомо, очень ловко и искусно владеет шпагой, значило, по его разумению, полагаться на случай; прибегнуть же к помощи нескольких подручных и затем свалить все на ненависть к французам было вовсе нехорошо, потому что сеньор Гонзага, содержащий пленника под защитой и покровительством воинских законов, был настолько чист душой, что не стерпел бы подобной низости точно так же, как если бы дело шло о нем самом. Наконец, после долгих раздумий, принц нашел, что наиболее прямой и верный путь — отравить врага ядом. Так, не способный быть львом, решил он быть лисом. И стал вести себя весьма хитро, щедро расточая дружеские ласки съёру д'Алегру, который, как истинный француз, имел открытое, чуждое подозрений сердце и не знал, что недоверчивость —

мать благополучия; почему и поплатился столь жестоко, что его беда стала наукой каждому. О, как опасен предатель, одной рукой протягивающий хлеб, а другой заносащий камень для удара! Недаром Бион хвалит благоразумие тех, кто не заводит дружбы с первым встречным. И еще более справедливо, по-моему, мудрецы сравнивают ложных друзей с воронами, блудницами, мухами, мышами, тиграми и другими вредными тварями, ибо ложный друг вмещает в себя всю злобу этих тварей, что и показал Адилон. Но кто бы не обманулся на месте д'Алегра? Кто мог подумать, что фурьеры вероломства осмелились прокрасться в сердце дворянина, куда доступ им должны были возбранять его зрелый возраст, образ жизни и доброе воспитание? И разве кто-нибудь поверил бы, что они были впущены туда не кем иным, как Амуром, — да-да, Амуром, которого живописцы почему-то изображают обнаженным с головы до пят, а он на сей раз был окутан покровом и тайно развратил душу Адилона, заразив ее изощренным коварством. И вот до чего это коварство дошло: раздобыв за большие деньги тончайший яд, который не выдавал себя ни вкусом, ни видом, и был неотличим от сахара (почему и обманулся незадолго перед этим один из пап, отравленный точно таким же ядом), принц весьма умело наплатил им самое красивое яблоко, какое только мог найти. Для этого воспользовался он впадинкой, откуда выходит черенок, прикрепляющий яблоко к дереву: через нее яд проник внутрь и мгновенно разлился по всему плоду. После этой подсластки он с особой похвалой поднес губительное яблоко французу, держась весьма дружески; про себя же надеялся, что это будет его последнее угощение.

Однако все случилось не так, как замыслил принц. Несчастный сеньор, принявший этот смертельный дар с большим удовольствием, — что объяснялось и добрым расположением к дарителю, и красотой самого яблока, — тут же (зная, как подобные лакомства нравятся девушкам) мысленно посвятил его той, которой ранее посвятил всего себя. Не мешкая отправился он к ней и нашел ее играющей в куницы с придворными дамами. И едва он вынул из кармана злополучный плод, как юная принцесса, шая, ловко выхватила его прямо из руки и надкусила, не ведая, что впускает в свое слабое тело скрытый внутри этой сласти яд.

О горе! Безжалостный пришлец не пощадил прелестную деву и тотчас обнаружил свою омерзительную силу, пронзив ее чистую грудь столь острой болью, что, изменившись в лице от жестоких страданий, она была вынуждена уйти в свою комнату. Там, побежденная нестерпимой мукой, она бросилась на постель и немедленно послала за врачом своей матери (который находился в покоях болевшего подагрой дяди). Врач явился и, узнав, как начался недуг, решил сперва, что это род колики, вызванной незрелым плодом, — но, попросив больную показать язык и увидев, что он весь запекся и вспух, а в нескольких местах на нем проступила черная сыпь, понял, что это несомненные следы какого-то жгучего яда. И без малейшего отлагательства он заставил ее принять очень сильное противоядие — митридат. Увы! Яд и в короткое время успел сделать столько, что остановить его губительное действие было уже невозможно; но поскольку удалось его несколько замедлить и унять мучительную боль, врач, считая, что опасность миновала, ненадолго оставил принцессу и вышел из ее комнаты. У дверей он встретил сеньора д'Алегра, ждавшего известий о здоровье своей повелительницы. Услышав, что принцесса отравлена яблоком (ибо простодушный лекарь, ничего не знавший о том, как было дело, рассказал ему все без обиняков), потрясенный д'Алегр едва не лишился рассудка от сознания, что он — причина этого несчастья. А еще сильнее надорвала ему сердце мысль о том, как легко он дался в обман вероломному другу, который сделал его палачом любимейшего создания и обрек на неминуемую казнь. И эта мысль жгла его душу таким мучительным огнем, что он решил жестоко покарать самого себя и тем хотя бы отчасти искупить свою вину. Раздираемый тоской и яростью, нашел он место, которое показалось ему удобным для того, чтобы привести в исполнение свой неправый приговор и вооружиться лютым бесчинием против собственного сердца. И, отчаявшись, уже хотел он заставить свои члены восстать на их господина и предать его смерти, как вдруг заметил виновника злодеяния — принца Адилона, который, держась в отдалении, наблюдал, удалась ли его затея и выполнило ли свое назначение яблоко: точь-в-точь как охотник, ранивший зверя, идет за ним по следу, пока не увидит, что тот издох. Но пришлось этому несчастному поплатиться за

свое преступление: словно взбешенный вепрь, бросающийся на того, кто нанес ему удар, сеньор д'Алегр, как ни был он обессилен душевным исступлением и близостью смерти, не потерял и мгновения, тут же ринувшись на отравителя со шпагой в руке. Видя это, изменник, которого устрасило грозное лицо, пламеневшее праведным гневом, и сознание своей виновности, не нашел для обороны и спасения от нависшей опасности лучшего доспеха, чем собственные ноги. И, бросив наземь плащ и шпагу, пустился бежать. Но сеньор д'Алегр, взревев подобно льву: «А! Так ты, подлый предатель, угостил меня ломбардской отравой!» — устремился за ним по пятам и, несмотря на защищавшую принца свиту, нанес ему шпагой удар под левое плечо, вогнав острие так глубоко, что пронзил насквозь сердце (полное злобы и коварства, прибавлю я), и Адилон был убит. Затем, не помня себя от ярости, наш француз стал рассыпать удары направо и налево, поражая одного противника за другим и пролагая себе дорогу через окружавшую его толпу. Незадачливые бойцы, видя, что их господин мертв, стали без особого сопротивления разбегаться кто куда, и вскоре неистовый д'Алегр остался один. Переведя дух, он привел в спокойствие и свои мысли, вслед за чем ощутил некоторое удовлетворение, смотря на того, кто причинил ему столько зла. И, скрестив усталые руки на груди, он обратился к мертвецу с такими словами:

— О плоть, в которой обитала неверная и лживая душа, сколь завидно мне твое нынешнее состояние! Ты свободна и избавлена от всех жизненных тягот, а я по твоей вине терплю величайшие муки, и, даже после смерти, ты заставляешь меня страдать. Но я сейчас же положу этому конец.

Сказав так, он поспешил обратно во дворец маркизы и, перешагивая через все приличия, бросился прямо в покои Кларинды, которая, горестно стеля (как герой в отравленной рубахе, зажигающий на Эте смертный костер), оплакивала не столько свой печальный конец, сколько то, что причиной бедствия по несчастной случайности стал самый дорогой ее сердцу человек и что обманутая доверчивость д'Алегра будет для него источником незаслуженных терзаний, тогда как он совершенно безгрешен. И еще более страшась, что после ее смерти ему предъявят суровое обвинение и

приговорят к казни, умирающая принцесса тревожилась только о том, как его оправдать.

Внезапно, не кончив речи, видит она д'Алегра с окровавленной шпагой, который повергается к ее ногам и, глядя ей в глаза, говорит:

— Госпожа моя, этот клинок покарал вероломство коварнейшего из злодеев, живших когда-либо под солнцем, который, думая отравить меня яблоком, нанес мне (увы!) гораздо больший вред, ибо сделал меня виновником вашего недуга и тем казнил так жестоко, как не мог и надеяться. И поскольку я заставил его сполна платить за причиненное мне зло, умоляю вас, сударыня, взыщите и вы с меня за то зло, какое я причинил вам; хотя, чтобы удовлетворить вас по справедливости, мне мало умереть и тысячу раз. Увы! Мне нечем загладить мое преступление. Все же, если не чуждо вам желание помогать несчастным, умоляю: избавьте меня от жизни и от всех ее горестей. Тогда я отомщу моей злой судьбе, из-за которой я стал причиной вашего бедствия и сам себя обрек на гибель. Если же вы находите, что я не достоин такого блага, как смерть от вашей милостивой руки, и что грех мой слишком велик для столь высокой чести, то произнесите хотя бы карающий меня приговор, чтобы я, исполнив его у вас на глазах, мог облегчить ваши мучения хотя бы отчасти. Ваша душа знает жалость; не отказывайте же мне, ради бога, в этом последнем снисхождении, которого я прошу у вас в благодарность за мое чистосердечное стремление быть вашим вечным слугой.

На это скорбная, изнемогающая от грусти и сострадания принцесса (для которой исповедь ее несчастного губителя стала целительным елеем) отвечала, крепко его обнимая:

— О дорогой друг, неужели вам кажется, что меня мало терзает моя жестокая болезнь? Нужно ли наносить мне еще один удар и усугублять мои мучения зрелищем вашей незаслуженной казни? Не требуйте от меня согласия на это, и я умру довольной и счастливой. Ибо если я и вправе роптать на судьбу, обрекшую меня во цвете лет на столь печальную кончину, то, с другой стороны, мне есть и за что благодарить небо: ведь оно своей милостью и благоволением сократило долгие страдания, уготованные мне любовью, да еще и подало мне исцеление чрез того, кто был причиной моего недуга.

га. Недаром мудрый Аполлоний на вопрос, как лучше наказать влюбленного, отвечал, что следует сохранить ему жизнь. Ах! Близок миг моего освобождения и радостного перехода в иное бытие: поэтому я признаюсь, мой Алегр, что ваша красота и редкая доблесть зажгли в моем слабом сердце чистую и благородную любовь, и она изо дня в день подтачивала мои жизненные силы. Яд же, который сожжет меня другим огнем, как мне кажется, возымел жалость к моему плачевному состоянию. Разве он не спас меня от великой муки? Вот почему, друг мой, я заклинаю вас тем несравненным чувством, которое хранила и буду хранить вечно, если только в новой жизни блаженные души помнят о том, что на земле им было дороже всего, и если любовь не погребают вместе с телом; я прошу вас последней просьбой, или, коль и впрямь я располагаю властью, какую вы мне некогда предоставили, повелеваю вам (под страхом, что я признаю вас непокорным и неверным слугой): живите счастливо и весело, ибо я, не имея причин роптать, прощаю вам от чистого сердца мою смерть, в которой вы нисколько не виноваты, и соглашаюсь на то, чтобы другая, более удачливая девушка насладилась благом, предназначавшимся мне одной, — с тем, что вы не забудете меня, ожидающую вас в лучшем месте, так как этот мир не дал свершиться нашим чистым желаниям. Не посягайте же столь безрассудно на свою жизнь, если не хотите разрушить наш священный союз, хранителем которого вы остаетесь согласно моему завещанию и последней воле. И, уверясь, что этого не случится, я с радостью пойду навстречу смерти, которая была ко мне весьма милостива, позволив так долго с вами прощаться и беспечально кончить жизнь в ваших объятиях.

Тем временем любовь, не желавшая сдаваться, употребила последние силы и, подвергнув душу рыцаря яростной осаде, привела его наконец к славному торжеству одоления всех его несчастий. Ибо, как челн, сотрясаемый неистовыми ветрами и бушующими волнами, лишь до поры стремительно убегает от опасностей, с отвагой обреченного удерживаясь на вздымающихся пенных гребнях, а затем налетает на скалу и разбивается в щепки, — точно так же скорбное сердце д'Алегра, смертельно раненное мыслью, что он стал орудием гибели той, в ком заключалась вся радость его жизни,

окончательно сокрушила тоска, внушенная грустными жалобами его несчастной возлюбленной, которая заливалась горьким плачем, словно лебедь, оглашающий берега родной реки томной предсмертной песнью. И сраженный противоборствующими чувствами, он, уподобясь военачальнику, который, выдержав суровую осаду, но не получив никакой помощи, наконец сдает крепость, был вынужден уступить превосходящей силе врага и отдать свое тело победительнице-смерти. И принцесса, невольно исторгнувшая своими пылкими сетованиями душу бедного влюбленного, внезапно, глубоко изумясь, увидела, что он, окоченевший и бледный, застыл в ее объятиях, как дитя, усыпленное пением кормилицы. Когда пушка не может изрыгнуть пламя и железо, заключенные в ее утробе, она взрывается и разлетается на части; такова же была славная кончина нашего француза, который не вынес страданий, переполнявших его сердце.

О блаженный любовник, доказавший величие своего чувства этим бескровным жертвоприношением! Да сияет твоя воспарившая на третье небо душа между звездами самых знаменитых влюбленных!

Но кто мог бы — не говорю описать — вообразить ту боль, какую испытала потрясенная принцесса, ощутив на своих прелестных устах холод тела, уже заплатившего последнюю дань природе? Долго пребывала она в оцепенении, а когда пришла в себя, то опустилась наземь и, не отрывая взора от склонившейся ей на колени головы возлюбленного — теперь являвшей лишь слепок его красоты, — стала ломать руки и рвать свои дивные волосы, украшенные жемчугами и драгоценными камнями. Затем, испустив глубокий вздох, она воскликнула:

— Бедная я, несчастная! Для чего безжалостная судьба так долго сохраняет мне жизнь? Не затем ли, чтобы подвергнуть всем мыслимым мучениям? Почему, глаза мои, вы столь враждебны мне, что взираете на смерть того, чья жизнь была моим высшим наслаждением? О, лучше бы мне родиться слепой, чем терпеть от вас эту обиду! А вам, мой дорогой друг, дорогой д'Алегр, цвет французского рыцарства, разве пристало — если и вправду ваша любовь ко мне была так велика — лишать меня последнего утешения? Я надеялась, что умру на вашей нежной груди; что мои глаза закроет

ваша ласковая рука! Почему же вы похитили назначавшееся мне благо? Почему, жестокий, вы избрали себе легкую участь, а меня оставили страдать? О, сколь злым был рок, из вражды к вашей редкой добродетели приведший вас в эту страну, неблагодарные жители которой приняли вас совсем не так, как требовали ваши достоинства! А еще более несчастным был день вашего знакомства со мной, за которое вы слишком дорого заплатили. И все же природа вас вознаградила, в силу особой привилегии даровав возможность умереть тогда, когда вы этого пожелали. О несправедливая смерть, являющая мне здесь доказательство своей свирепости, почему ты не захотела мне помочь? Неужели для того, чтобы сделать меня виновницей горестной трагедии и обесславить мое имя в потомстве, которое вечно будет оплакивать этот несравненный цветок, увянувший из-за любви ко мне и сожженный жаром моего бедствия? О, я была бы стократ счастлива, если бы могла спасти его ценой моей гибели, как добросердая царица Фессалии, которая выкупила своего дорогого Адмета, передав свою жизнь ему в наследство! Но судьба отказывает мне в этом благе и, желая окончательного моего уничтожения, более не ждет: недолго осталось мне быть рабой этого упрямого несчастья, ибо, чувствую я, близится моя кончина, открывающая мне восхитительный сад, где среди блаженных меня ждет мой д'Алегр, еще усталый и тяжело дышащий после ристания, в котором он меня опередил.

Кто видел голубя летом, когда он погружается в прохладный ключ, а затем плывет по воздуху на веслах крыльев, суша свои сверкающие перья в горячих лучах солнца, тот может представить себе очи несчастной Кларинды, которые то источали горькие слезы, то осушались пламенными воздыханиями, свидетельствуя со всей ясностью, что страдания, подобно злобным гончим, рвут ее на части, — пока яд, побеждая сопротивление природы, не начал разрушать прекрасное тело принцессы, возжигая в ее нежном сердце огонь, пылавший сильнее, чем негаснущее горнило сицилийской горы.

Ее голос (укрошавший своей нежностью любого строптивца) становился все глуше и глуше. Подобные небесным звездам очи, которые восхищали людей, озаряя их сердца тихим светом, заволакивала смертная пелена. Нежные ланиты, где неизменно цвели розы,

чело, где созидил свой рай Амур, уста, коими возглашал он свои оракулы, — все это поблекло и цветом стало неотличимо от ее белоснежной шеи. И тело, которое еще недавно слыло сокровищницей красоты и храмом граций, простерлось, сокрушенное и сломленное суровой смертью. Так цветок, попавший под слишком жаркие солнечные лучи, поникает головой и увядает на своем стебле.

Увидев это, преданная камеристка, которая, будучи поверенной принцессы, обычно принимала участие в ее встречах с д'Алегром, а после того как случилась беда, тщетно старалась выходить госпожу, закричала как безумная, учинив смятение не только во дворце, но во всем городе, и так уже растревоженном смертью Адилона. И это весьма удивило маркизу, заставшую по возвращении из Кремоны, куда она ездила отдать распоряжения о каких-то делах, всеобщий переполох. Она поспешила к себе домой, но когда вошла туда, то, лишившись чувств, пала на руки свиты, ибо увидела, что ее обожаемая дочь (сокровище, прославившее их род на всю Италию) лежит мертвая у подножия кровати, слив уста в поцелуе с бездыханным рыцарем.

Когда же маркиза пришла в себя и узнала от камеристки и Люцидана всю историю жизни и смерти двух влюбленных, ей не оставалось ничего иного, как оплакать это горестное событие, наполнив замок рыданиями и стонами. И, понимая, что помочь им нечем и что единственное, в чем нуждается их бедная плоть — это последняя постель, где ждет ее вечный покой, она велела похоронить их в склепе маркиза, куда и проводил влюбленных весь город, свидетельствовавший (и одеждами, и слезами) глубокую сердечную скорбь.

Так соединились в смерти те, кого в жизни прочно связала верная любовь. Поныне еще можно видеть на могиле их статуи, столь искусно изваянные из гранита, что если бы они двигались, их можно было бы счесть живыми. В самом деле, когда глядишь на эти печальные лица, думаешь, что лишь скорбь и тоска, сжимающая сердца влюбленных, мешает им говорить и сетовать на свою судьбу. Рыцарь опирается на правое колено, а под мышкой у него — обнаженная шпага, которая вытесана из крапчатой яшмы и оттого кажется окровавленной; он подносит принцессе яблоко из этого же камня (как если бы Адам искушал Еву). За ними, с

пронзенным плечом, Адилон (чье тело было увезено в его родной край): он льет на яблоко яд. Подле влюбленных черная колонна, на ней стоит Купидон, поправший одной ногой голову Фортуны, а другой — голову смерти; он увенчан короной с надписью «Победа побежденных», а в руках держит плиту из чистого золота, на которой можно прочитать:

Cor fuerat bini unum, mens una, viator,
Quarum nunc unus contegit ossa lapis.

Что на нашем языке означает:

Едины духом эти двое были,
И под одной плитой они почили.

Так начертано по-латыни, ибо латынь — преложительница всех наречий; внизу же к чести нашего французского языка сделана следующая надпись:

Яблоко, несчастный дар!
Роковою красотою
Древле ты зажгло пожар,
Обративший в пепел Трою.
А теперь твой злой обман
Погубил чету влюбленных:
Украшение двух стран,
Горной цепью разделенных.

Что думаете вы, досточтимые дамы и господа, об этой печальной и горестной истории? Мыслима ли более глубокая, более искренняя любовь? И со всем тем — могли ли влюбленные ожидать худшего воздаяния за свое чувство, притом совершенно незаслуженного, без всякой вины кого-либо из них? Этим и подтверждается мое мнение, согласно которому все несчастья происходят от превратностей судьбы. Таков закон дел человеческих: счастье и несчастье чередуются столь же неизбежно, как после дождя бывает солнце, а после солнца дождь; поэтому следует помнить, что колесо не перестает вращаться, и, возносясь наверх, ждёт падения вниз. Некоторые философы полагают даже, что больные счастливее здоровых: те ожидают выздоровления, а эти — болезни. Оттого-то благоразумный царь Египта расторг союз и договор с Поликратом, царем Самоса, который был так удачлив, что ни одно из его предприятий не

доставляло ему и малого огорчения: вспомнить хотя бы поимку рыбы, в чьем брюхе был найден бесценный перстень, нарочно брошенный в море этим баловнем судьбы, желавшим ощутить досаду и печаль. Египтянин же отверг его дружбу только потому, что знал: столь великое счастье не может не смениться столь же великой бедой. Так и случилось: спустя малое время счастливец лишился своего царства и позорно кончил жизнь на виселице. Приходят мне на память и слова Терамена, сказанные после того, как среди пира, где он был вместе с двадцатью девятью другими царями, дом рухнул и все, кроме него, погибли. Видя свою необычайную удачу, он вскричал: «О Юпитер, для какого несчастья ты меня бережешь?» По его примеру царь Македонии, слыша добрую весть, всякий раз молил богов оставить его счастье без внимания и смягчить бедствие, которого ему теперь следует ждать. Известно ведь, что у Юпитера, по словам мудрого поэта, есть два сосуда: один с благами, другой, гораздо больший, с напастями; и, проливая на смертных содержимое этих сосудов, он поступает как царь, угощающий свой народ питьем, в котором всегда больше воды, чем вина.

Итак, все мы должны ждать какого-нибудь несчастья, которое нас рано или поздно настигнет (что хорошо знал Солон, отказывавшийся называть кого бы то ни было счастливым, пока тот не умер), и Фортуна владычествует в этом мире столь безраздельно, что справедливо именуется царицей и богиней: поэтому смеем ли мы думать, что ее суд, для которого нет ничего святого, не властен и над любовью? Я, впрочем, не хочу признать, что он в силах ее угасить, ибо любовь вечна и, побеждая земные законы, торжествует над смертью в венце нетленного бытия. Свидетельство этому — ярчайшие созвездия Персея и Андромеды, Вакха и Ариадны и многих других, чья любовь осияла небеса. Нельзя забыть и тех, которые нисходят в преисподнюю (о чем рассказала душа влюбленного Поликсена). Но эта мачеха Фортуна всячески препятствует благому стремлению любящих, муча и тираня их различными бедствиями. Так подрезают крылья птице, чтобы лишить ее природного совершенства. Однако смею утверждать, что Фортуна, подобно молнии, поражающей наиболее высокие вершины, обычно ополчается только против истинно сильной любви и, пренебрегая борьбой с

дюжинными противниками, ищет славы в одолении тех, кто возвышается над другими.

— Воистину так! — отвечала мадемуазель Мари. — Но чем вы на сей раз оправдаете порочность мужчин? Ведь из вашего рассказа явствует, что причиной этого ужасного несчастья стала их ревность. Вы поневоле должны осудить или скудоумие сеньора д'Алегра, который так слепо доверился Адилону, что, право же, заслуживал быть обманутым, если бы от этого пострадал только он сам, — или злокозненность его бессердечного приятеля, который, мстя врагу, умертвил собственную возлюбленную. Хотя любовь не терпит товарищества, мне думается, что если бы эти два дворянина прониклись теплом дружеского чувства, они были бы уступчивей и поладили между собой, как два греческих государя, которые прибегали к переговорам в любовных делах, не превращая любовь в противницу дружбы, ибо они родные сестры.

На это съёр де Бель-Акей возразил:

— Я согласен, сударыня, подобное и вправду случилось в древности, когда люди были так добры, что не только возлюбленную могли отдать по чьей-нибудь просьбе, но отказывались даже от жены, как Катон, сделавший это ради своего врага Гортензия, хотя тот не смел его просить. Тогда было признано, что у друзей все должно быть общим, — правда, скифы не включали сюда меч и чашу. Однако этот род людей вымер, и никто в наши дни не пожелал бы вести себя как великий воин, который поклялся вовек не сражаться, когда царь у него отнял его любимую Бризеиду, и все же нарушил данную клятву ради своего друга Патрокла, доказав этим, что дружба более властна над ним, чем любовь. И потому, как ни достоин осуждения поступок Адилона, я осудил бы принца еще сильнее, если бы он малодушно отступился от своей добычи. Так что, сударыня, прошу вас довольствоваться моей снисходительностью к принцессе, ибо я не ставлю ей в вину легкомыслие, с которым она покинула старого почитателя ради нового — чужеземца и человека неизвестного.

— Я не намерена, — смеясь ответила мадемуазель Мари, — с вами спорить: ведь вы решили внять разуму, заглаживая проступок сеньора Флер-д'Амура и воздавая наконец хвалу дамам, — ее, без сомнения, снискали им ваш рассказ и прекрасная Кларинда, достой-

ная жалости не только потому, что была отравлена возлюбленным, но и потому, что вместо утешения, которого она ждала среди ужасных страданий, ей пришлось воочию видеть прискорбную смерть того, чья жизнь была ее единственной отрадой. Его же я почитаю счастливым не только потому, что он сподобился столь славной участи, как смерть от любви, но и потому, что имел несравненную свидетельницу искренности его чувства. И если избавление от зла должно называть благом, то этот влюбленный, полагаю я, истинно блажен, ибо вследствие своей смерти он избавился от величайшего зла, не увидев смерти возлюбленной. Так, Никокл, который вместе со своим лучшим другом Фокионом был приговорен выпить яд, хотел пить первым, а Фокион (никогда в жизни не отказывавший другу), согласился с ним и в смертный час, хотя это было ему горше всякого яда.

Когда она кончила, владелица замка распорядилась, чтобы дворецкий велел накрывать стол для ужина, и они просят у нас позволения туда идти.

